

АЛЕКСАНДР
БЛОК



АЛЕКСАНДР
БЛОК

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

**МАЛАЯ СЕРИЯ
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ**

Советский писатель

АЛЕКСАНДР БЛОК

СТИХОТВОРЕНИЯ

и

ПОЭМЫ

Э

Ленинград 1951

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
В. Л. Орлова*



АЛЕКСАНДР БЛОК

1

Творчество Александра Блока принадлежит к числу замечательных явлений русской национальной художественной культуры. «Александр Блок по силе своего песенного голоса, по глубине его, искренности, по охвату темы, по огромности своего поэтического характера, по связи его с исторической жизнью нашей Родины является несомненно великим русским поэтом».¹

Самые выдающиеся писатели — современники Блока, говоря о нем, отмечали как его гениальную одаренность, так и значительность роли, которую сыграл он в истории русской поэзии. А. М. Горький в 1919 г. советовал одному молодому литератору: «Блоку — верьте, это настоящий — волею божий — поэт и человек бесстрашной ис-

¹ «Правда», 1946, № 186 (10268), от 7 августа, — статья Н. Тихонова «Александр Блок (к 25-летию со дня смерти)».

кренности». ¹ В. В. Маяковский в 1921 г. писал: «Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха... Блок оказал огромное влияние на современную поэзию. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк... Другие преодолели его романтику раннего периода... Но тем и другим одинаково любовно памятен Блок». ²

Художественное творчество Блока (не считая отроческой лирики и нескольких стихотворений, написанных к случаю в последние годы жизни) охватывает период в двадцать лет — с 1898 по 1918 г. Таким образом, творческий путь поэта укладывается в эпоху подготовки и осуществления грандиознейшего в истории человечества революционного перелома — Великой Октябрьской социалистической революции. Блок глубоко чувствовал, что перелом этот имеет всемирно-историческое значение и открывает перед человечеством невиданно широкие горизонты. «Значительность пережитого нами мгновения истории равняется значительности промежутка в несколько столетий... — писал Блок после Октября. — Чем дальше разворачиваются события... все отчетливее

¹ Д. М. Семеновский, А. М. Горький. Письма и встречи, М., 1938, стр. 87.

² В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 2, М., 1939, стр. 473. Впервые — в газете «Агит-Роста» 1921, № 14.

сквозят в нашем времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры» (VIII, 132—133). ¹

Сознавая всю значительность развертывающихся вокруг событий и полностью отдавая себе отчет в том, что они налагают на писателя особую ответственность, Блок стремился подняться на высоту понимания тех великих исторических задач, которые стояли перед его родиной, перед его народом. «Только о великом стоит думать, — утверждал Блок, — только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами» (VIII, 6). Стремления поэта постичь смысл исторической жизни своего времени далеко не всегда и не во всем увенчивались успехом: во многом он ошибался, многого не понимал. Но в конечном счете именно они, эти стремления, характеризуют основную тенденцию и пафос идейных и художественных исканий Блока в пору его творческой зрелости.

За двадцать лет своей творческой жизни Блок пережил сложный и во многом противоречивый процесс идейно-художественного развития. Начал он с отвлеченно-романтической и узко индивидуалистической лири-

¹ Ссылки на Блока, кроме особо оговоренных, сделаны по его «Собранию сочинений» в двенадцати томах (Л., 1932—1936); римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

ки, с погружения в «сны» и «туманы», с мистической веры в «миры иные». Юношеская лирика Блока на крайне невнятном языке говорила лишь об интимных переживаниях «уединенной души». Лирика эта отразила характерные черты смутного, хаотического сознания человека, не установившего прямой и прочной связи с окружающим его миром, с реальной жизнью, с исторической действительностью. А кончил Блок поэтическим утверждением неразрывной, органической связи художника с миром, родиной и народом, страстно желая слить свою душу водино с «народной душой». В поэме «Двенадцать», завершающей и венчающей творческие искания Блока, он выступил как поэт-гражданин, который почувствовал, что обрел право говорить от лица своего народа, провозглашая миру новую историческую правду, рожденную Великой Октябрьской социалистической революцией.

Путь Блока от юношеских «Стихов о Прекрасной Даме» до «Двенадцати» был трудным, с остановками и отклонениями. Мировоззрение поэта формировалось в условиях буржуазного общества и, естественно, отмечено глубокими и резкими противоречиями, отражавшими, в свою очередь, противоречия, заложенные в самой природе этого общества.

Блок начал свой творческий путь в рядах

символистов — наиболее воинствующих представителей реакционного, антинародного искусства буржуазного декаданса. Провозглашая эстетскую теорию «искусства для искусства», символисты пытались лишить русскую литературу ее высокого идейного и общественного значения. Испытывая страх перед грядущей революцией, они отворачивались от реальной действительности, стремились уйти в фантастику, в мир мечты, в религиозную мистику.

Но в дальнейшем Блок разошелся с символистами, убедился в пустоте и ничтожности их искусства, осознал контрреволюционную роль буржуазии и лживость лозунгов буржуазной демократии и в ответственный час истории нашел в себе духовные силы для того, чтобы решительно порвать свои связи с буржуазным миром и с агонизирующей буржуазной культурой.

Говоря о Блоке, необходимо иметь в виду — в качестве основной предпосылки и главной черты его идейно-художественного развития, — что к вершинам своего творчества он пришел не только независимо от причастности к символизму, но и вопреки ей. Все, что есть в поэзии Блока истинно замечательного и что делает его национальным поэтом, все это возникало и складывалось на почве совершенно иных идейных и художественных воздействий, было преимущественно связано с великими гуманистиче-

скими и демократическими традициями передовой русской литературы. Вместе с тем, однако, не следует затушевывать и сглаживать резкие противоречия философского, общественного и художественного мировоззрения Блока. Влияние реакционной метафизики и ложных эстетических доктрин так и не было вполне изжито Блоком, и именно это обстоятельство препятствовало его окончательному переходу на позиции общенародного искусства.

От буржуазных декадентов, глухих и слепых к запросам живой жизни, зрелого Блока резко отграничивало глубоко присущее ему сознание моральной и общественной ответственности писателя. Зрелый Блок не замыкался в кругу узко эстетических интересов, не ставил искусство над жизнью или вне жизни, но, напротив, видел истинную ценность искусства в его жизненной правдивости, достоверности, в его отзывчивости на то, что происходит в жизни в данное время. В пору полного расцвета его дарования Блоком овладело «сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики». Раскрывая существо своего творческого метода, он говорил: «Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор» (см. предисловие к поэме «Возмездие»). Он утвер-

ждал, что «личная страсть» всякого истинного художника всегда «насыщена духом эпохи» и что поэтому «в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой» (VIII, 102).

Примером этому служит творчество самого Блока. Лирика его действительно преисполнена бурей и тревогой. Она проникнута необыкновенно острым ощущением катастрофичности и обреченности буржуазного мира и не менее острым чувством будущего — взволнованным ожиданием и предвидением близящихся и неотвратимых «неслыханных перемен». Свидетель и участник грандиозных исторических событий, развернувшихся в России в начале XX века, Блок очень точно характеризовал свой жизненный и творческий путь, как «путь среди революций». Большой, чуткий и искренний художник, он отразил в своем творчестве существенные черты эпохи, ознаменованной глубокими изменениями как в мире социальных отношений, так и в душевном мире человека, и отблеск этой революционной эпохи лежит на его стихах и поэмах.

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый ответ в лицах есть, —

так писал Блок, и все наиболее значительные его стихи представляют собою редкую по глубине содержания и искренности тона лирическую исповедь, раскрывающую перед нами душевный мир потрясенного социально-историческими противоречиями русского буржуазного интеллигента — современника Цусимы и 9 января, первой мировой войны и Великой Октябрьской революции.

Блок оказался блудным сыном буржуазного общества. Он не соблазнился «красивыми уютами», которые сулил ему мир «сытых». Напротив, всеми силами души он ненавидел и презирал этот мир зла и неправды, обрекавший человека на горе и страдания. Он не знал и не искал покоя, но жил «в огне и холоде тревог», временами целиком отдаваясь полету своей «свободной мечты», временами впадая в темное и глухое отчаянье.

Ноты этого отчаянья громко звучат в поэзии Блока. Они чужды сознанию советского человека — героического и победоносного строителя коммунистического общества. Но они исторически объяснимы и понятны как черта трагического сознания человека, обре-

ченного, говоря словами Блока, на «мытарства» в «страшном мире» буржуазного общества.

Да, знаю я: пронзили ночь отвлека
Незримые лучи.
Но меры нет страданью человека,
Ослепшего в ночи!..

Страдания человека, униженного и оскорбленного в царстве «сытых», человека, искалеченного капитализмом, человека с «роковой пустотой» в когда-то восторженном сердце, с отчаянными, но бессильными порывами к лучшему, с неотступным предчувствием своей гибели, — эти страдания Блок выразил с величайшей эмоциональной силой.

При всем том отчаянье не победило Блока. Главное и основное в его поэзии — не темы «смертной тоски», которая порою овладевала им, или «мрачных услад», в которых он подчас пытался найти забвение, но его вечное душевное беспокойство, его высокое патристическое воодушевление, его благородная тревога за судьбы родины и народа, его презрение и ненависть к врагам народа, наконец — его глубокая, никогда не умиравшая в нем вера в будущее, в лучший «новый век». С пламенной человеческой страстью и великолепной поэтической энергией выразил зрелый Блок свой правый гнев и свои за-

ветные надежды, предвещая приближение очистительной грозы народной революции:

На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть,
Приговаривай к работе руки...

Я верю: новый век взойдет
Средь всех несчастных поколений...

Долго отравляясь ядами вырождавшейся буржуазной культуры, долго блуждая в дебрях мистики и всяческой метафизики, Блок прошел сквозь годы тщетных идейных исканий, ложных обольщений и горьких разочарований — прежде чем прийти к пониманию того решающего обстоятельства, что художник обязан рассматривать свое дело как «служение» народу, что он должен творить «в сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом» (IX, 62), что подлинное искусство рождается только «из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души м а с с ы» (дневник 1919 г.).

Но к такому пониманию сущности искусства и задач художника Блок, как уже сказано, пришел издалека.

Александр Александрович Блок родился 16 (28) ноября 1880 г. в Петербурге, в «ректорском доме» Петербургского университета. По происхождению, воспитанию и семейным связям он принадлежал к верхушке дворянской научно-художественной интеллигенции. Среди предков и родственников его насчитывается несколько известных ученых и профессиональных литераторов. Отец поэта был профессором Варшавского университета — государствоведом и философом. Детство и отрочество Блока прошло (в Петербурге и в подмосковной усадьбе Шахматово) в семье деда со стороны матери — крупного ученого (ботаника) и видного либерального общественного деятеля А. Н. Бекетова, одно время бывшего ректором Петербургского университета. Впоследствии (в 1903 г.) поэт женился на дочери великого русского ученого — Д. И. Менделеева.

Блок рос и воспитывался в традициях высокой наследственной культуры и расплывчатого либерализма, уживавшегося с преувеличенным представлением о сословной и культурной обособленности дворянской интеллигенции. Идеино-психологическая атмосфера, окружавшая Блока в ранней молодости, семейные традиции, условия домашнего воспитания — все это способствовало упрочению в нем чувства глубокой отчужденности

не только от мещанской пошлости буржуазного общественного быта, но также и от всего живого и нового, что лежало за пределами узкого, замкнутого и, по существу, консервативного семейного круга. Позже Блок сам сказал, что он вступил в жизнь «с полным незнанием и неумением сообщаться с миром» (I, 85).

Действительно, будучи уже студентом Петербургского университета (сперва юристом, потом — филологом), Блок проявлял удивительное равнодушие к тому, что происходило в русской жизни, в лучшем случае занимал позицию стороннего наблюдателя. Редкие суждения его по самым волнующим вопросам современности поражают своей наивностью, крайне примитивным пониманием общественной и политической обстановки. Духовные и интеллектуальные интересы молодого Блока лежали в совершенно иной плоскости.

В семье Бекетовых очень крупную роль играла литература. Бабушка Блока была известной переводчицей, его мать и тетки писали и переводили в стихах и в прозе. Литература была здесь явлением быта, и неудивительно, что Блок очень рано проявил свои художественные наклонности. «Сочинять» он стал чуть ли не с пяти лет, а с 1897 г. начал писать стихи «всерьез». Правда, в юности он сильно увлекался театром и даже думал о поступлении на сце-

ну, но в 1901 г. окончательно осознал себя поэтом.

Юношеская лирика Блока полна мистических «знамений» и «предвестий». При всей своей затемненности и невнятности, они поддаются в достаточной степени точной расшифровке как своеобразная форма художественного выражения крайне субъективных и хаотических душевных переживаний молодого поэта. Не касаясь в этой связи мотивов побочных и менее существенных, наличествующих в ранней лирике Блока, следует обратить внимание на то, что накладывает на нее особый отпечаток, а именно — на ее тревожность. На языке мистики Блок пытался выразить рано овладевшее им чувство тревоги — в ту пору еще очень смутное, но уже беспокойное ощущение неблагополучия и катастрофичности старого мира. «Что везде неблагополучно, что катастрофа близка... — это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией», — писал он впоследствии (IX, 191). Говоря словами самого Блока, в своей юношеской лирике он «был мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие конца мира. Все разрастающиеся события были для него только образами разворачивающегося хаоса» (V, 158).

Здесь совершенно правильно указана наиболее характерная черта юношеского миро-

воззрения Блока: мистицизм. Ясное понимание того решающего обстоятельства, что человечество находится на грани величайшего исторического перелома, что кончается определенный этап мирового исторического процесса, что «весь старый строй „переворотился“» (Ленин)¹ и что к колесу истории становятся новые общественные силы, — понимание всего этого подменялось в сознании Блока темной, бредовой апокалиптической идеей «конца мира».

Подобного рода направление мыслей, конечно, не являлось ни изобретением, ни привилегией Блока. Оно объединяло и воодушевляло целую группу представителей молодого поколения буржуазно-дворянской интеллигенции 90-х годов и должно быть оценено в своей исторической и социально-классовой обусловленности.

Обострение классовой борьбы в 90-е годы, происходившее в условиях победоносцевской реакции, с одной стороны, и все более очевидного нового подъема революционного движения, с другой, определило судьбы буржуазно-дворянской интеллигенции. Значительная часть ее, порвав с традициями передовой русской культуры и общественной мысли, открыто пошла на союз с капитализ-

мом и взяла на себя задачу идеологически обслуживать его интересы.

Однако среди этой интеллигенции находились люди, которым претило столь откровенное ренегатство. Они пытались sobлюсти свое «первородство» и создать, хотя бы для самих себя, иллюзию своего независимого, «внеклассового» существования. Чуждаясь мещанской пошлости и торгашеского духа буржуазного общественного быта, догадываясь о надвигающемся кризисе буржуазной культуры, они громко заявляли о своем «неприятии» капиталистической действительности. Но грядущая революция страшила их еще больше, нежели власть капиталистического молоха, и это обстоятельство целиком определило их дальнейшую судьбу.

Не понимая закономерностей общественно-исторического развития, ощущая освободительную борьбу народа как чуждую и враждебную стихию, угрожающую существованию культуры, представители этого интеллигентского круга предпринимали тщетные попытки оказать сопротивление революционно-материалистической идеологии под окончательно обветшавшим и выцветшим знаменем философского идеализма и религии. Отвергая на словах капиталистическую действительность, они не могли противопоставить ей ничего, кроме различных, но одинаково

¹ В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 17, стр. 31.

беспочвенных утопий. Задачи реальной борьбы за свободу и счастье человечества, за революционное пересоздание мира на началах разума и справедливости они подменяли отвлеченными моральными концепциями и абстракциями абсолютных начал «мировой жизни» (Идея, Дух, Мировая душа и т. п.), и тем охотнее обращались к философии религиозного откровения, ко всякого рода темным мистическим учениям.

Главным источником мистических тем и образов, увлекавших воображение молодого Блока, послужила реакционная метафизика Вл. Соловьева — поэта, философа и публициста, пользовавшегося в свое время немалым влиянием в кругах рафинированной буржуазно-дворянской интеллигенции. В частности, идеи Соловьева пленили младшее поколение символистов, среди которых образовалась целая группа «соловьевцев» во главе с Андреем Белым. Именно к этой группе и примкнул Блок на первом этапе своего литературного пути.

В мистике Соловьева очень значительную роль играли характерные для религиозного сознания надежды на духовное возрождение человечества к новой, лучшей жизни. Соловьев провозгласил, что старый мир, изменивший божественной правде и погрязший в грехах, уже заканчивает круг своего существования и что приближается предсказан-

ная в Апокалипсисе «эра Третьего завета», когда на земле воцарятся мир, справедливость и истинно-христианская любовь. Центральный образ мистической философии и поэзии Соловьева — Мировая душа, понимаемая как «единая внутренняя природа мира», живущая незримо во всех явлениях. Она призвана спасти земной мир и духовно обновить человечество.

Мистические бредни Соловьева, не имеющие ничего общего с серьезным философским мышлением, сами по себе для нас, конечно, ни в какой мере не интересны. Но существенно уяснить, что именно искал и что нашел в них молодой Блок, — тем более что его толкования соловьевской мистики носили весьма субъективный характер. Суть дела заключается в том, что на почве соловьевства Блок пытался как-то обосновать свои туманные надежды на возможное обновление жизни. Он воспринял и оценил Соловьева как «провозвестника будущего», одержимого «страшной тревогой, беспокойством», как «духовного носителя и провозвестника тех событий, которым надлежало развернуться в мире» (VIII, 132—133), — и этим заслонялось для него все остальное в Соловьеве — его религиозно-философские и специально-богословские идеи, его воинственно-реакционная публицистика.

В юношеской лирике Блока разработана,

по существу, лишь одна соловьевская тема, а именно — тема Мировой души — Вечной женственности, раскрытая в различных образных воплощениях: Вечно-Юная, Прекрасная Дама, Дева-Заря-Купина, Владычица Вселенной, Таинственная Дева и т. д. В рамках этой темы в лирике Блока нашло свое первоначальное, еще мистифицированное и тем самым глубоко искаженное выражение с юности владевшее им романтическое чувство причастности «всемирной жизни», ощущение слитности и нераздельности своей индивидуальной души со всеобщей и единой «мировой душой».

Вопрос о соотношении частного с общим, человека с миром очень рано возник в творческом сознании Блока и навсегда остался для него, может быть, самым волнующим вопросом. В юношеских стихах этот вопрос решался в отвлеченно-мистическом плане, вне каких-либо социальных осмыслений: поэт выключал из понятия общего и целого такую категорию, как народ. Общее для него — абстрактно воображаемый «мир», «вселенная», даже шире того — «космос». «Я и мир», «вселенная — моя отчина» — таковы поэтические формулы, в которые Блок пытался облечь владевшее им чувство общности и единства человека с «мировой жизнью», с космосом. Только для земной, реальной жизни с ее горестями и радостями, с ее повседневными явлениями и проти-

воречиями в этой широкой картине почти вовсе не находится места.

Основное идейно-психологическое содержание юношеской лирики Блока сводится именно к этому мистическому, «невыразимому» ощущению таинственной общности индивидуальной человеческой жизни с космическим бытием вселенной. Иллюзорный идеал юного Блока — гармония будущего, преобразенного мира и целостный, «гармонический» человек будущего, причастный «всемирной жизни». В «Стихах о Прекрасной Даме» выражено в личном переживании ощущение вечного всемирного бытия, которое якобы открывает перед человеком пути из окружающего его мрака «глухой ночи» к вселенскому свету «грядущего дня»:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

Всё дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа.

Так в сознании поэта, затуманенном соловьевщиной, происходила подмена трезвого понимания реальных закономерностей истории и действительности утопическими надеж-

дами на некое чудо, воплощающееся в образе далеких и манящих «зорь».

Этим, конечно, не исчерпывается содержание юношеской лирики Блока. Истинный поэт, естественно, не мог целиком подчинить свое дарование задаче стихотворного переложения отвлеченных идей. При общей мистической настроенности «Стихов о Прекрасной Даме», в них явственно слышится живой, взволнованный и искренний человеческий голос. Самый образ Прекрасной Дамы, именно как художественный образ, шире и ёмче, нежели поэтическое воплощение идеи «вечно-женственного начала». В образе этом отчетливо сквозят «земные черты»; мистическая Дева-Заря-Купина подчас оборачивается просто «розовой девушкой», в облике которой есть нечто от красавицы царевны русских сказок.

Вообще в ранних стихах Блока в изобилии встречаются образы и мотивы, ведущие свое происхождение от русского сказочного и песенного фольклора: боярышни и монастырские отроки, красные лампадки в тереме у царевны и коньки на узорной резьбе, голуби, воркующие перед узорчатой дверью, волшебная птица Гамаюн, новогоднее гадание Светланы и проч. т. п. Правда, все это включено в общий мистический контекст блоковской лирики и отмечено печатью эстетизации русской старины, характерной для

буржуазно-декадентского искусства в целом. Однако существенно отметить, что за «сказочными» образами и мотивами, равно как и за разрозненными чертами типично русского пейзажа (зубчатый лес, клеверное поле, белая церковь над рекой, снежная вьюга, весеннее половодье и т. д.) в юношеской лирике Блока зачастую угадывается нечто реальное и конкретное — то, что в действительности окружало поэта: поля и леса Подмошья, обстановка усадебного быта.

Именно благодаря тому, что Блок был поэтом громадной лирической силы, проникавшей, казалось бы, самые отвлеченные, самые фантастические его темы, лучшие из ранних его стихов существуют и независимо от своего мистического содержания, как лирика глубокой и чистой юношеской любви, вызывающая непосредственные эмоционально-художественные впечатления.

В 1903 г. Блок уже накануне поворота. В одном из наиболее простых, ясных, «человеческих» стихотворений той поры он сказал, как бы подводя итог своим юношеским духовным и поэтическим исканиям:

Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душная, песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни — спую когда-нибудь.

Эти новые песни не заставили себя ждать.

В стихах Блока, написанных в 1903 и в начале 1904 г. и составивших цикл под знаменательным заглавием «Распутья», наметились тенденции, вполне неожиданные для певца Вечной женственности. Его начинают увлекать мотивы «жестокой арлекинады»; чертовщинки, своеобразной демонологии; в стихах его в изобилии появляются двойники, какие-то таинственные горбуны, «косматые, кривые и рогатые чудища». Все это представляло собою самый разительный контраст с молитвенным тоном и розово-лазурным колоритом большинства стихов о Прекрасной Даме.

Переоценивать подобного рода тенденции Блока, конечно, не приходится; однако не подлежит сомнению, что они знаменовали кризис его юношеских религиозно-мистических верований, горькое разочарование в мистической схоластике соловьевства.

Отказываясь от наивной и утешающей веры в возможность «духовного преображения» человечества и установления в мире «всеобщей гармонии», Блок вступает в круг новых идей, тем и интересов. Он начинает глубже, пристальнее вглядываться в жизнь. Она остается еще во многом непонятной поэту, еще зачастую пугает его, однако поэт уже не склонен трактовать ее только как бледную тень «миров иных». Пусть еще в

смутных, неотчетливых, мистифицированных образах, но в лирике Блока все чаще возникают картины «здешнего мира». Для него приобретают смысл и значение уже не коллизии мистического сознания, а действительные противоречия жизни — человеческое горе и счастье, сытость сытых и голод голодных, условность и живость буржуазной морали и т. д.

В первый ряд творческих тем Блока выдвигается тема капиталистического города с его социальными и бытовыми контрастами. Правда, в своих ранних городских стихах Блок еще очень далек от реалистического изображения действительности. Город по большей части предстает в стихах Блока как некая фантазмагория, призрачное, обманное видение, как мир, населенный таинственными «черными человечками» и «пьяными красными карликами». Но в обращении Блока к темам действительности проявилась и другая тенденция, гораздо более существенная с точки зрения идейно-творческой эволюции поэта. В лирику его властно вторгается социальная тема. В стихотворении «Фабрика» (1903) она впервые у Блока зазвучала с большой силой и определилась в своем идейном содержании как тема разоблачения и морального осуждения «страшного мира» капитализма.

Так постепенно Блок приходит к острому восприятию действительности, проникается

ощущением реальной, а не иллюзорной непрочности старого мира. В городе «торговли», «безумия» и химерических «обманов» поэту открылся также иной мир — мир «новых людей», «поднимающихся из тьмы погребов». Многие стихи Блока, написанные в 1904 г., а также незаконченная поэма «Ее прибытие» овеяны дыханием надвинувшейся социальной бури:

Печальные люди, усталые люди,
Проснитесь, узнайте, что радость близка! ..
Смотрите, как ширятся полосы света,
Как радостен бег закипающих пен!
Как море ликует! Вы слышите — где-то —
За ночью, за бурей — взыванье сирен!

Развернувшиеся в России революционные события усилили звучание социальной темы в поэзии Блока. Революция 1905 года, глубоко пережитая поэтом, сыграла решающую роль в прояснении его социального и художественного зрения. Она вывела его из уединенной кельи мистика на простор вольной жизни, она пробудила в нем присущее всякому истинному и честному художнику чувство общественной ответственности и кровной связи с народом.

Для характеристики тогдашних настроений Блока стоит упомянуть о том, что еще так недавно проявлявший полное равнодушие к общественно-политической жизни, он участвовал в одной из революционных де-

монстраций, неся во главе ее красное знамя и «чувствуя себя заодно с толпой». В июне 1905 г. под напором нахлынувших на него мыслей и чувств Блок пишет одному из приятелей: «...хочу действительности, чувствую, что близится опять огонь, что жизнь не ждет... Старое рухнет. Никогда не приму Христа... Если б ты узнал лицо русской деревни — оно переворачивает; мне кто-то начинает дарить оружие... Может быть, будет хорошо, кругом много гармонии... Какое важное время! Великое время! Радостно».¹

Революция 1905 года в конечном счете определила направление всего дальнейшего творческого и общественного пути Блока, с каждым годом уводившего его все дальше в сторону от остальных символистов. Много лет спустя, уже после Октября, Блок имел основание сказать, обращаясь к Зинаиде Гиппиус — представительнице наиболее реакционных сил внутри символизма: «Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни».²

Приветствуя революцию в целом ряде стихотворений, Блок прямо и открыто выразил свою ненависть и свое презрение не только к «прогнившему хлеву» старого ми-

¹ Александр Блок, Сочинения в одном томе, М. — Л., 1946, стр. 509.

² Там же, стр. 568.

ра, но и к политическим идеалам либеральной буржуазной интеллигенции, составлявшей ближайшее бытовое и литературное окружение поэта. Шумные ликования буржуазных либералов по поводу «дарованной» самодержавием конституции не встретили у Блока сочувствия; напротив, он оценил этот маневр царизма как обман революционных чаяний народа (см. стихотворения «Вися над городом всемирным...» и «Еще прекрасно серое небо...»).

При всем том, «еще мало видя и мало сознавая в жизни», Блок не сумел достаточно глубоко проникнуть в смысл происходящего, не сумел постичь классовый характер революции и увидеть ее реальные движущие силы. Представления Блока о будущем носили весьма расплывчатый характер, и сама идея революционного переустройства жизни воплощалась им в романтическом образе «больших кораблей», несущих усталым и обездоленным людям какую-то неясную и «нечаянную» радость.

Революционные настроения Блока, при всей их искренности, были настолько романтически-отвлеченными, что он не сумел увидеть перспективы дальнейшего развития освободительной борьбы народа. Поэтому поражение революции и временное торжество реакции на первых порах привело его к тому, что он «отчаялся в своих лучших надеждах» (VIII, 5). Отчаянье это со всей

очевидностью сказалось в творчестве Блока: с чувством гражданственности, проснувшимся в поэте под влиянием революции, еще упорно боролись и зачастую одерживали верх совершенно иные влечения и воздействия — эстетские, антиобщественные, декадентские по своей идейно-художественной природе. Противоборство этих враждебных друг другу начал — гражданского и эстетского — окрашивает все творчество Блока в годы 1905—1907, которые, по его же определению, явились для него «переходными».

К утешениям религиозной мистики в духе соловьевства Блок уже не возвращался. Больше того: он предал жестокому осмеянию то самое, что прежде составляло предмет его духовных исканий. Он обращается к ироническому переосмыслению и пародированию соловьевских тем в ряде стихотворений и — особенно резко — в лирической драме «Балаганчик» (1906). Придя к убеждению, что «истинное искусство в своих стремлениях не совпадает с религией», Блок открыл для себя новую, как он говорит, «прекрасную, богатую и утонченную тему» — тему «мистицизма в повседневности» (Записная книжка 1906 г.). Она и была особенно широко разработана в стихах 1905—1906 гг., по преимуществу в двух вариантах.

Первый из них сводился к своеобразной «языческой» мифологизации природы и утверждению пантеистического слияния челове-

ка с ее стихийными силами (стихи о «болотных чертенятках», «тварях весенних», «болотном попике», колдунах и русалках). При этом, обращаясь к материалу народной мифологии, Блок выделял и подчеркивал в фольклоре не реалистические образы, а всяческие колдовские и демонологические мотивы, облюбованные символистами. Второй вариант темы «мистицизма в повседневности» предусматривал эстетизацию серой, будничной обстановки городского быта, которой присваивались черты таинственности, сказочности, романтической фантастики. Характернейшим примером разработки этой темы может служить знаменитая баллада «Незнакомка», где рассказано о том, как становится «таинственной» сама пошлость мещанского обихода (трактир, пьяницы «с глазами кроликов» и т. д.).

В лирику Блока вторгается стихия «цыганщины», «всемирного запоя», «богемы души», воплощенная в образах Незнакомки, Кометы, Снежной маски, Фаины и раскрывающаяся в темах страсти и отчаянья, «буйного веселья» и «погибельных мук», радости и страдания, борьбы и гибели, судьбы и смерти. Своей кульминации эта линия лирического творчества Блока достигает в цикле «Снежная маска» (январь 1907 г.), в котором мотивы трагической страсти и обреченной судьбы звучат с особенным напряжением.

В «Снежной маске» в наиболее обнаженной форме закреплены типические черты тогдашней художественной манеры Блока, особенно сближающие его с декадентско-символистской поэзией: метафорический стиль, алогическая «музыкальность» стихотворного языка, эстетизированный словарь.

«Снежной маской» завершается тот «переходной» период творчества Блока, который он сам охарактеризовал как «антитезу» своей юношеской поэзии. Вместе с тем, подводя итоги, этот цикл открывает новую страницу в творчестве Блока.

И в новый мир вступаю, знаю,
Что люди есть, и есть дела, —

говорит Блок в одном из стихотворений «Снежной маски», и он, действительно, вступал в это время в новый для него мир — в мир «людей и дел», начинал прямой разговор о жизни и о человеке.

Тенденции такого рода возникли в творчестве Блока, как мы видели, много раньше. Нейтрализованные иными воздействиями, временно отодвинутые на задний план, они, тем не менее, никогда не теряли для Блока своего значения. Он чувствовал и сознавал, что декадентская «лирическая стихия» таит в себе «опасность тления» и «лирические яды», которые и ему, Блоку, «грозят разло-

жением». ¹ В дальнейшем он будет всеми силами стараться вытравить из своей поэзии эти «лирические яды». Но и в этот «переходной» период, когда творчество Блока, быть может, наиболее отразило декадентско-символистские влияния, он нетерпеливо и жадно искал иные пути, и именно этими поисками характеризуются внутренний смысл и перспективное направление его идейно-творческого развития.

Мятежная и хмельная стихия «цыганщины» оборачивалась для Блока и другой стороной. Именно на почве «цыганщины» возникают в его сознании темы бездомности, бродяжничества, цыганской свободы, зовущей поэта из его лирического уединения на вольный и широкий простор, а вслед за ними и заслонившая вскоре все остальные — громадная тема России (впервые — в стихотворении 1905 г. «Осенняя воля»).

В это время в лирике Блока все более ощутимыми и весомыми становятся тенденции выработки новой поэтической системы. В целом ряде стихотворений он успешно преодолевает инерцию декадентско-символистской поэтической культуры и от эстетизации действительности обращается к ее конкретному, неприкрашенному изображению. Такие стихи о городе, как «Холодный день», «В октябре», «Окна во двор», «Хо-

жу, брожу понурый...», «На чердаке» и др., реалистически просты и конкретны. Здесь впервые у Блока городская повседневность предстает уже не в таинственном преображении, не в кривом зеркале иллюзорных и химерических представлений, но во всей своей оголенной правде:

Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе...

Стихи этого цикла (и ряд других) замечательны также выраженным в них горячим сочувствием к обездоленному и униженному человеку, обреченному на «томления рабских трудов» и на душевные страдания в мире, где правят «сытые». Блок увидел, «как тяжело лежит работа на каждой согнутой спине», и поэзия его все более и более проникается гуманистическим пафосом и демократическим чувством, чувством любви к простому человеку-труженику, искалеченному в водовороте буржуазного общества. В стихах Блока все громче начинает звучать взволнованный, страстный голос, гневно разоблачающий все темное, уродливое, мертвое, что препятствует человечеству обрести счастливую и свободную жизнь (см., например, «Ангел-хранитель»).

¹ «Сочинения в одном томе», стр. 525.

Важнейшей вехой на пути преодоления Блоком декадентского эстетизма явился замечательный цикл «Вольные мысли», написанный в середине 1907 г. Здесь уже полностью торжествуют принципы того строгого и мощного стиля, воплощением которого служит лирика зрелого Блока. «Вольные мысли» проникнуты громадной силой живого человеческого чувства. Душа поэта не погружена здесь в темную, иррациональную «лирическую стихию» узко-субъективных переживаний и иллюзорных представлений. Она вбирает в себя все впечатления реальной объективной действительности. Поэт чувствует себя заодно с людьми, говорит о своей связи с природой, поет

Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа...

В «Вольных мыслях» уже нет ничего от эстетизации действительности, от претворения ее в сказку. Напротив, здесь раскрывается подлинный, ничем не искаженный облик мира, в котором люди трудятся, веселятся, любят, страдают и умирают. Здесь запечатлены великолепные по точности и тонкости рисунка картины природы. Здесь с большой силой разоблачены пошлость и уродство буржуазного быта.

Изобразительная манера Блока претерпевает в «Вольных мыслях» самые радикаль-

ные изменения. Здесь поэт решительно порывает с «невнятицей» и «красивостью» своего метафорического стиля, с магической, завораживающей музыкальностью «Снежной маски». В белых пятистопных ямбах «Вольных мыслей» он овладевает пушкинской ясностью, точностью мысли и слова, усваивает своему стиху эпический размах и высокое драматическое напряжение.

«Вольные мысли» в творчестве Блока — это точка перелома, в результате которого он вырос в большого поэта с широкой социально-исторической, философской и моральной проблематикой. Стремительный творческий рост Блока пришелся на тяжелые годы реакции.

4

Напомним исчерпывающую характеристику распада буржуазной литературы в годы реакции, которую дал А. А. Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград»: «Горький в свое время говорил, что десятилетие 1907—1917 годов заслуживает имени самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции, когда после революции 1905 года значительная часть интеллигенции отвернулась от революции, скатилась в болото реакционной мистики и порнографии, провозгласила бездейность своим знаменем, прикрыв свое

рenegатство «красивой» фразой: «и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Именно в это десятилетие появились такие ренегатские произведения, как «Конь бледный» Ропшина, произведения Винниченко и других дезертиров из лагеря революции в лагерь реакции, которые торопились развенчать те высокие идеалы, за которые боролась лучшая, передовая часть русского общества. На свет выплыли символисты, имажинисты, декаденты всех мастей, отрекавшиеся от народа, провозгласившие тезис «искусство ради искусства», проповедовавшие безидейность в литературе, прикрывавшие свое идейное и моральное растление погоней за красивой формой без содержания. Всех их объединял звериный страх перед грядущей пролетарской революцией».¹

В этой обстановке распада и гниения буржуазной литературы Блок, не в пример прочим символистам, занял совершенно особую, в высшей степени достойную и благородную позицию. Модные «религиозно-общественные искания» буржуазной интеллигенции, равно как и реакционное, антинародное искусство буржуазного декадана вызвали резкий протест Блока. Он расценивал их как отвратительный мистико-эротический «сло-

¹ Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», Госполитиздат, 1946, стр. 12.

весный кафе-шантан», как постыдную «болтовню», вызывающую «чувство озлобления». «А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко, — писал Блок в одной из статей 1907 г. — Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому на свете, кроме «утонченных натур», ненужных, — ничего в России бы не убавилось и не прибавилось!» (VIII; 7).

В годы реакции, когда подавляющее большинство представителей буржуазной литературы пошло по пути откровенного идейного ренегатства, Блок полон тревожных и горьких раздумий о судьбах России, русского народа и русской национальной культуры. Раздумья его были проникнуты высоким пафосом патриотизма и гражданственности. Касаясь «темы России», он писал в 1908 г. К. С. Станиславскому: «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, что это — первый вопрос, самый жизненный, самый реальный... Ведь здесь — жизнь или смерть, счастье или гибель».¹ В другом письме того же времени читаем: «...растет передо мною понятие „гражданин“, и я начинаю понимать, как освободительно и целебно это понятие, когда начинаешь от-

¹ «Сочинения в одном томе», стр. 531.

крывать его в собственной душе». ¹ Блок жадно ищет «дорогу к делу», оговаривая, что «для того, кто изведал сладость, а потом и горечь старых дум и старых дел, остается живым только одно новое дело» и что «для этого нового дела есть богатая почва во всех областях русской жизни, русской общественности, русского искусства, — такая благодарная почва, как ни в одной стране» (XII, 36).

Проблема родины, вопрос о ее будущем были неотделимы в сознании Блока от вопроса о революции. В обстановке реакции, когда снова предельно обнажились и обострились классовые противоречия, он изжил охватившее его было «отчаяние в лучших надеждах», отчетливо понимая, что, несмотря на временное поражение революции, дни старой России сочтены. «Неотступное чувство катастрофы», чувство неизбежной гибели старого мира всецело овладевает Блоком: «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа» — утверждает он в 1908 г.

¹ «Сочинения в одном томе», стр. 530 — Тогда же Блок записывает: «Мечты о журнале с традициями Добролюбовского „Современника“... Чтобы не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской... Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение» (Записная книжка 1908 г., — цитир. с поправками по рукописи).

(VIII, 22 и 31). Грядущая революция представлялась Блоку стихийным взрывом подземно таящихся сил, которые, вырвавшись наружу, не оставят камня на камне от «прогнившего хлеба» буржуазного общества.

В этой связи перед Блоком возникает крайне тревожившая его проблема взаимоотношений народа и интеллигенции, отделенных друг от друга «недоступной чертой». В ряде статей и публичных докладов, в драме «Песня судьбы» (1908) Блок настойчиво призывает интеллигенцию переступить эту «недоступную черту» и связать свою судьбу с судьбой народа. В противном случае, — предсказывает он, — интеллигенцию ждет верная гибель. В народе Блок видит единственный источник всякой «жизненной силы», в том числе и творческой силы художника.

С 1907—1908 гг. тема родины, ее истории, ее судьбы выдвигается в первый ряд лирических тем Блока. В представлениях его о России отчетливо различимы «неославянофильские» мотивы, ведущие происхождение от современной Блоку реакционной идеалистической философии истории. Самый образ России первоначально разрабатывался Блоком в традициях Тютчева и Хомякова, отчасти — Аполлона Григорьева (Россия-«цыганка»). Это — колдовская, «дремучая», «нищая» и «прекрасная» Русь, «почиющая в тайне», романтически «необычайная», сказоч-

ная, с «ведунами и ворожеями», с заветными «преданьями старины». Но не эти мотивы составляют главное и основное в блоковских стихах о России.

С реакционно-славянофильским началом в мышлении и творчестве Блока боролось и побеждало иное — демократическое — начало, объективно выражавшее идею народной революции. В самое глухое время реакции у него складывается «огромная концепция живой, могучей и юной России», «завещанная» русской классической литературой и передовой общественной мыслью: «Если есть чем жить, то только этим, — пишет Блок в 1909 г. — И если где такая Россия „мужает“, то уж, конечно, — только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, одержанно раздумывающего думу „все об одном“, и юного революционера с сияющим правдой лицом, и все вообще непокладливое, одержанное, грозное, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит».¹

¹ «Сочинения в одном томе», стр. 534. — Важно отметить, что, говоря о современной литературе, выразителем этой юной России, «мужающей в сердце революции», Блок назвал Горького: «...если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем Руси, — то вы-

Насколько сильна была ненависть Блока к «страшному миру» старой царской России, настолько горяча была его любовь к юной народной России, накапливающей свою революционную энергию. Для этой России он находил самые проникновенные слова, которые никогда не утратят своей вдохновляющей силы.

Приюти ты в даях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя! —

писал Блок, обращаясь к родине. Он называл ее то красавицей невестой, то «светлой женой», то своей «жизнью» («Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..»). Образ родины в стихах и поэмах Блока — светлый образ, противостоящий мраку «страшного мира». Это — «легкий образ рая», надежда и утешение обездоленного и страдающего человека. Это — динамический образ России, устремленной в «даль веков», в бескрайний простор будущего, — образ, преемственно связанный с лирической патетикой Гоголя, с его необгонимой птицей-тройкой:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!..

разителем его приходится считать в громадной степени — Горького. По роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений, по „бесконечности идеала“... Горький — русский писатель» (X, 34—35).

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.

В степном дыму блеснет святое знамя

И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль...

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль...

Пусть присущее Блоку ощущение надвигавшейся революции как стихийного взрыва было смутным, пусть политически идея народной революции была осознана им неверно — без учета ведущей и организующей роли революционного пролетариата, — в самом главном он не ошибался — в воле народа к борьбе за свободу, в его моральной правоте и великой творческой силе, в том, что правда на его стороне и будущее — за ним:

В голодной и больной неволе

И день не в день, и год не в год.

Когда же всколосится поле,

Вдохнет униженный народ?..

Народ — венец земного цвета,

Краса и радость всем цветам:

Не миновать господня лета

Благоприятного — и нам.

Из понимания того факта, что Россия — страна назревающей революции, выростала уверенность Блока в том, что родине его

предстоит сыграть великую, всемирно-историческую роль в жизни человечества. Будущее России неизменно мыслилось Блоком как «Великая Демократия», в условиях которой человеку будет обеспечено свободное, всестороннее и гармоническое развитие всех его физических и духовных сил.

Так в творческом сознании Блока возникает высокий романтический идеал подлинной, полноценной жизни и «нового человека»:

О, я хочу безумно жить:

Всё сущее — увековечить,

Безличное — вочеловечить,

Несбывшееся — воплотить!

Это — «духовно-мощный», целостный, творческий «человек-артист», способный «жадно жить и действовать», чувствующий себя заодно со всем миром, творящий свою жизнь под знаком «мужественности и воли». Борьбой за формирование этого человека и разоблачением всего, что препятствует такому формированию в значительной мере определяется идейно-психологическое содержание лирического и эпического творчества зрелого Блока.

В поэзии Блока громадную роль играет лирическое «я». Сам он предлагал рассматривать свои стихи как «дневник его жизни»,

подсказывая тем самым автобиографическое их истолкование.

При этом, однако, важно подчеркнуть, что в зрелых стихах Блока частная тема личной судьбы поэта, наполняясь социальным содержанием, органически включается в общую историческую тему «страшных лет России». Все, что окружает поэта в жизни, воспринимается им только в индивидуальном переживании, но каждая личная тема, расширяясь до внеличных обобщений, приобретает смысл и значение лишь в меру своей объективной общезначимости. Это — замечательная черта лирического стиля Блока.

Зрелые стихи Блока свидетельствуют о том, что решение проблемы типического образа достижимо средствами лирической поэзии в том случае, если поэт-лирик проникается ощущением единства и целостности мира и себя самого ощущает как часть этого всеобщего целого. При этом условия образ лирического героя приобретает черты типичности — в той мере, в какой исторически достоверны и правдивы воплощенные в этом образе душевные коллизии и поскольку в них отражены действительные жизненные противоречия, характерные для данного времени.

Блок утверждал, что «в поэтическом чувстве нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее

ощущает он „свое“ и „не свое“» (VIII, 102). Четкую формулировку этого ощущения мы встречаем и в стихах Блока:

...через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И всё уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь...

Как подлинно великий лирический поэт, Блок умел показать в частном общее, в личном — общественное, в лирике — историю. В этой связи уместно напомнить знаменательные слова Горького: «Поэт — эхо мира, а не только нянька своей души».¹

В поэзии Блока с течением времени разительно меняется содержание «мечты», составляющей духовный идеал лирического героя. Сперва на смену юношеским мистическим мечтам о «Солнце Завета» приходит пьянящая и волнующая «хмельная мечта» принятия и благословения жизни. Но потом — умудренный жестоким житейским опытом, поэт уже иначе раскрывает свою мечту:

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.

¹ А. М. Горький, Письма к рабочим и писателям, М., 1936, стр. 15.

Туда, туда, смиренней, ниже, —
Оттуда зримей мир иной...

Этот «иной мир» — уже не потусторонний мир мистических видений; это — мир лучшего будущего, чистый, свободный и справедливый, «неописуемо прекрасный и человечески-простой», который поэт провидит сквозь «непроглядный ужас» окружающей его жизни. Это новое осмысление мечты, как реальной мечты о лучшей жизни в «новом веке», сопровождается в поэзии Блока трагическим сознанием обмана «всех прежних малых дум и вер», крушением прежней «детской», наивной, утешающей мечты, не выдержавшей столкновения с живой жизнью.

С этой точки зрения Блок и подходит к постановке и решению особенно волновавшего его вопроса о судьбе человека, покалеченного в «поворотe» буржуазного общества, обреченного варварскими законами и обычаями этого общества на «невольную тоску» и «невольные муки». С болью в душе и с горечью в сердце Блок рисует духовное опустошение, нравственный упадок и безвольность этой жертвы капиталистического «правопорядка»:

Поглядите, вот бессильный,
Не умевший жизнь сласти,
И она, как дух могильный,
Тяжко дремлет взаперти.

Критика этого «правопорядка» — самая сильная в идейном отношении сторона поэзии Блока. В стихах его резкими, глубокими чертами запечатлен облик «страшного мира», где «лжи и коварству меры нет», где царят обман, лесть и злато, где человек забывает «о доблестях, о подвигах, о славе», где даже любовь оборачивается мукой, где нет и не может быть истинного счастья. Блок рисует замечательные по силе и яркости изображения драматические рассказы о печальных судьбах людей, сломленных «лживой жизнью» («На железной дороге», «Унижение», «Авиатор» и др.). Во многих стихотворениях и в поэме «Возмездие» он с громадной силой разоблачает фальшь и убожество буржуазной морали и всю бесчеловечную жестокость буржуазной цивилизации.

Все чаще и громче в поэзии Блока начинают звучать сатирические ноты («Вольные мысли», «Поэты», «Пляски смерти», «Жизнь моего приятеля» и др.). Показательно в этом отношении первое стихотворение из цикла «Пляски смерти», выполненное в гротескных тонах. В общем контексте лирики Блока стихотворение это говорит об обреченности старого мира, над которым стоит знак смерти, о духовном омертвлении «героев» этого мира — тех, кто командует и первенствует в банках, в суде, в сенате, на светских раутах.

Говоря о печальной судьбе человека в мире капитализма, Блок не ограничивался тем лишь, что констатировал его падение и бессилие. Нет, он хотел бороться за судьбу этого человека, за его будущее. Он вдохновенно мечтал об изображении сильного, волевого, героического характера (к решению этой проблемы он подходил в своих драматургических замыслах — см. «Нелепый человек»). Идеалом его был человек с возвышенными чувствами, с пламенным душевным горением, «дитя добра и света», человек, живущий в едином ритме с «мировым оркестром» жизни. Однако тема «нового человека» (в ее позитивном выражении) осталась в творчестве Блока недостаточно разработанной; в сущности, он только подходил к реализации данной темы.

Значительным в этом отношении и в известном смысле программным произведением Блока является лирическая поэма «Соловьиный сад» (1915). В основе поэмы лежит мысль о том, что человек не должен изменять жизни, сколь бы трудна и сурова она ни была, ради уединенного личного счастья, ради блаженства и очарования «сладких песен», неспособных заглушить грозный рокот волн житейского моря. Здесь мужественная воля человека и владеющее им чувство долга побеждают расслабляющую его душу лень и эгоистическое наслаждение:

Пусть укрыла от дольного горя
Утонувшая в розах стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна. . .

Тему мужественности и воли Блок осмыслял и в свете своего личного творческого опыта. В сознании его складывается идея душевной твердости и бесстрашия художника, «мужественно глядящего в лицо миру», верующего в жизнь и благословляющего ее смысл. Формулировку этой идеи Блок дал в обращении к художнику в прологе поэмы «Возмездие»:

Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен. . .
Так бей, не знай отдохновенья,
Пусть жила жизни глубока:
Алмаз горит издалека —
Дроби, мой гневный ямб, камень!

Обращение Блока к темам действительности и к психологии реального исторического человека сопровождалось (начиная уже с «Вольных мыслей») глубоким изменением общей стилевой тональности его поэзии. Он неуклонно движется от отвлеченного к конкретному и, успешно преодолевая импрессионистическую зыбкость и «недоговаривание», характерные для ранних его стихов, прихо-

дит к убеждению, что «форма искусства есть образующий дух, творческий порядок» (Записная книжка 1909 г.).

Выразительным примером того, как «отвердевал» поэтический стиль Блока, приобретаемая черты пластичности, ясности и монументальности, могут служить «Итальянские стихи», написанные в основном в 1909 г. Они отличаются несвойственной прежде Блоку строгостью своих структурных форм, отвечающих жанрам поэтических размышлений и пейзажной лирики, материалом которых послужили воспоминания о прошлом и живые впечатления действительности. Мастерски запечатлел Блок в этих стихах образы древней культуры и великого искусства Возрождения, равно как и черты итальянского пейзажа.

Отказываясь от декадентско-символистской «красивости» и «музыкальности», которым и он отдал дань в стихах «переходного периода», Блок не прибегал к имитации готовых стиховых форм и стихотворного языка, но искал самостоятельных путей к творческому, новаторскому разрешению проблем поэтического стиля. Непрерывно расширяя свой поэтический кругозор, охватывая различные, порою очень далеко друг от друга лежащие литературные традиции, свободно сочетая элементы различных стилей — от романсно-элегического до куплетно-частушечного, Блок ничего не отвергал из историче-

ски сложившегося наследия русской поэзии. Творчески осваивая и перерабатывая весь богатейший опыт, накопленный русской лирикой XIX века, ничего не канонизируя из старых традиций, но скрещивая и сплавливая их, расшивая по старой канве новые узоры, Блок на этой основе создавал свой собственный лирический стиль.

Однако, эволюционируя в одном направлении, стиль этот в процессе своего формирования оставался многоплановым. В лирических стихах Блока различимы, в основном, три стилевые линии. Первая из них — напевно-эмоциональная, мелодически и интонационно ориентированная на старинный и специально «цыганский» романс. В русской лирической поэзии это была давняя и довольно широкая традиция, однако всегда занимавшая скромное положение. Блок обновил и обогатил романс: в его творчестве эта подчиненная песенно-декламационная форма лирической поэзии обрела черты высокого лирического жанра, усложнилась, наполнилась глубоким психологическим содержанием и стала явлением большого литературного стиля. В обращении Блока к романсу сказались не только любовь его к «цыганщине», но и то обстоятельство, что он высоко ценил романсную поэзию за подлинность, прямоту и резкую выразительность ее эмоционального содержания. В обнаженной эмоциональности этой поэзии, с ее обыденными

темами, элементарными формами, песенными интонациями, Блок искал источники общепонятности и народности поэтического искусства.¹

Но с течением времени в лирике Блока все более ощутимым становится процесс вытеснения напевно-эмоциональных интонаций интонациями повествовательными и разговорными, связанными в первую очередь с традицией драматизированного лирического стиля Некрасова. Глубокое влияние Некрасова на зрелого Блока сказалось со всей очевидностью — как в обращении его к темам России, народа и революции, правды, совести и гражданского долга, так и в приемах художественного разрешения этих тем (см., например, «На железной дороге», «Перед судом», «Унижение», «Коршун» и другие стихи о России).²

Наконец заметное место в лирике Блока занимает также ораторская интонация, преимущественно связанная с поэзией Лермонтова (отчасти Тютчева). Наиболее четко выра-

¹ В этой связи находит объяснение подмеченная людьми, близко знавшими Блока, любовь его ко всем формам «низового», народного искусства, презиравшегося буржуазными эстетиками и декадентами, — к цирку, эстраде, театрам-миниятур, кинематографу, «Народному дому».

² См. подробнее: В. л. О р л о в, Александр Блок и Некрасов. «Н. А. Некрасов, Научный бюллетень Ленинградского Гос. ордена Ленина университета», № 16—17, Л., 1947, стр. 56—63.

жена она в тех стихах Блока, которые проникнуты пафосом гражданственности и в которых образ лирического героя оформлен как образ поэта-трибуна, обличителя социального зла.

Так, пользуясь всем богатством национальной поэтической культуры, сливая воедино разные ее потоки — от романса до политической оды, применяя принцип свободного скрещивания различных стилевых традиций, Блок сообщил русскому лирическому стиху новую энергию и новую выразительность.

При всем том Блок настойчиво искал выход за пределы лирических жанров. Тенденция к более широкому охвату действительности влекла его к эпосу и к драме, и в своих творческих поисках он практически решал проблему не только лирического, но и эпического стиля. Крупным успехом Блока на этом пути и вместе с тем вообще одним из его наивысших творческих достижений явилась поэма «Возмездие», — по определению самого поэта, «полная революционных предчувствий».

Поэма была задумана очень широко — в масштабах общеевропейской и русской истории второй половины XIX и начала XX века, как монументальный общественно-бытовой «роман в стихах» с лирическими и историко-философскими отступлениями. «Поэма обозначает переход от личного к общему. Вот главная ее мысль» — записал

однажды Блок. Поэма не была закончена, но и в написанной части она остается в русской поэзии XX века (дооктябрьского периода, до появления революционных поэмов Маяковского) самым значительным памятником эпического жанра.

Блок ставил в поэме ту же задачу, что и в лирике: он хотел показать, как мельчает, мучается и гибнет человек в условиях старого мира. Но «юность — это возмездие», — повторяет Блок за Ибсеном. В каждом новом поколении отлагаются и множатся новые упорные силы, которые, в свою очередь, начинают воздействовать на окружающую среду. «Последний первенец, — говорит Блок в предисловии к поэме, — уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться... за колесо, которым движется история человечества» и свершить «возмездие той кучке олигархии, которая угнетает весь мир». Главный герой поэмы («сын»), по замыслу Блока, должен был погибнуть на революционных баррикадах 1905 года. Во вступительных строфах первой главы поэмы дана замечательная по глубине и выразительности характеристика «железного» буржуазного века, разоблачающая живую, антигуманистическую природу буржуазной цивилизации и буржуазной демократии.

На широком фоне исторической русской

жизни в ее кризисные и поворотные моменты (русско-турецкая война 1877—1878 гг., народовольческое движение, революция 1905 г.) Блок имел в виду развернуть целую галерею человеческих образов. Из них далеко не все получили творческое воплощение, и прежде всего невоплощенным остался главный герой — «сын», о судьбе которого Блок хотел рассказать в ненаписанных главах поэмы. Но и то, что создано из этой галереи — образы «деда» и особенно «отца», — говорит о том, что Блоку было доступно изображение средствами стиха сложного, противоречивого и реального человеческого характера.

В «Возмездии» нашли явное и многостороннее выражение реалистические тенденции, наличествующие в художественном мировоззрении и поэтическом стиле Блока. Никогда еще не писал он с такой пластичностью и живописной яркостью, с такой конкретной изобразительностью, с такой точностью в целом и в деталях.

При этом возникает вопрос о пушкинской традиции в творчестве Блока. Источники и проблематики и поэтики «Возмездия» — в реализме Пушкина. Пушкинское начало явственно присутствует в поэме Блока — в обобщенных общественно-политических характеристиках эпохи, в бытовых сценах и описаниях, в системе лирико-философских отступлений, в приемах свободного включе-

ния исторического материала в сюжетную ткань повествования; самый жанр исторической, общественно-бытовой хроники, избранный Блоком, ближайшим образом соответствует «Евгению Онегину».

Высокий интерес представляет вся художественная структура «Возмездия», в частности — «гневный ямб», которым написана поэма. В этом отношении она произведение новаторское: Блок извлек новые поэтические возможности из четырехстопного ямба, обогатил эту традиционную форму русского стихового эпоса оригинальными ритмическими приемами и присвоил ей особое интонационное напряжение.

6

Художник, говорил Блок, «должен честно смотреть, а смотреть художественно — честно значит — смотреть в будущее». Сам он смотрел именно так. «Мы стоим перед лицом нового и всемирного... Новый мир уже стоит при дверях», — утверждал он за семь лет до Октябрьской революции, добавляя, что «с полным правом и ясной надеждой ждет нового света от нового века» (IX, 186). Источником этой ясной надежды оставались для Блока Россия и русский народ. Говоря о силе поэтического чувства Блока, не следует преуменьшать остроту его социального зрения. Он видел перед собой

страну, неудержимо рвущуюся к новой жизни. Россия обернулась к нему своим «новым ликом» — «не старческим и не постным», а юным и полным жизни. Блок увидел и воспел «многоярусный корпус завода», фабричные трубы и гудки, уголь и руду. «Будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств», — писал он в 1915 г., предвставляя себе это будущее как «великое возрождение под знаком мужественности и воли», как «сдвиг всех сил», как торжество «Великой Демократии» (Записная книжка).

В годы кануна крушения старой России блоковское ощущение неблагополучия и обреченности буржуазного мира достигает предельной остроты. В 1916 г. он возмущается, что находятся люди, которые утверждают, будто «все хорошо», «когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно». ¹ Кульминационной точкой и своего рода итогом развития темы «страшного мира» в лирике Блока служит написанное в том же 1916 г. сильное стихотворение «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...». Это, казалось бы, голос полного, безисходного отчаянья. Но Блок, к счастью для него,

¹ «Сочинения в одном томе», стр. 560.

принадлежал к числу тех чутких людей, которые и в нестерпимом мраке «одичавшего» капиталистического мира не утратили живой творной и окрыляющей веры в то, что «грядущего ночь не пуста».

В лирике Блока звучали и другие ноты:

...Что ж, конец?

Нет... еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

Эти ноты заглушали отчаянье Блока. Они были связаны не только с его горячим патриотическим чувством, но и с глубоким переживанием вновь развернувшихся в России грозных исторических событий. Империалистическую войну Блок осудил как «бессмысленную» и корыстную бойню, и в этом отношении занял позицию, резко отличавшую его от символистов, акмеистов и прочих буржуазных бардов, охваченных шовинистическим угаром. Его единственный непосредственный отклик на военные события — стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем...» проникнуто все тем же всецело поглощавшим его чувством тревожного ожидания близящихся перемен («В грозном клике звучало: *пора!*...»). А в замечательном стихотворении «Коршун» Блок поднялся до отрицания империалистической войны и все-

го прогнившего царского строя с подлинно народных позиций.

Крушение самодержавия Блок воспринял как «начало жизни». Важно отметить, что он сразу осознал масштабы революции и был убежден в неизбежности ее нарастания: свержение царизма было, с его точки зрения, только прелюдией «еще не развернувшихся событий». Накануне Октября Блок ждет «стихийного выступления» народных масс и записывает в дневнике: «Один только Ленин верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и надает все в стране».

Сразу же после Октябрьского переворота Блок открыто и четко определил свою общественно-политическую позицию в качестве сторонника и сотрудника советской власти. Когда в начале ноября 1917 г. по инициативе ВЦИКа в Смольном было созвано совещание представителей петроградской литературно-художественной интеллигенции для обсуждения вопроса об участии ее в строительстве новой культуры, на призыв откликнулось всего несколько человек. Но среди них были А. А. Блок и В. В. Маяковский.

Осознав Россию как будущее, Блок сумел подняться на высоту понимания всемирно-исторического значения Великой Октябрьской социалистической революции. «Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, — писал он после Октября

в программно-декларативной статье «Интеллигенция и Революция». — Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы оживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (VIII, 48).

Революция стала для Блока «содержанием всей жизни». Она вдохнула в него могучие творческие силы, заставила пережить такой высокий творческий взлет, какого он еще не знал. В январе 1918 г. он создал свой поэтический шедевр — революционную поэму «Двенадцать», которая навсегда останется в художественной истории человечества величайшим памятником Октябрьской эпохи. Вдохновенный порыв Блока был столь велик, что, обычно беспощадно строгий к себе, он записал в день, когда кончил поэму: «Сегодня — я гений».

Блок воспринял Великую Октябрьскую социалистическую революцию как «мировой пожар, который разгорается и будет еще разгораться долго и неудержимо, пока не запылает и не сгорит весь старый мир дотла» (VIII, 96). Это восприятие, обусловленное всеми исконными идеологическими представлениями Блока, самим характером его мировоззрения, сказалось в «Двенадцати», определив и сильные и слабые стороны поэмы.

Блок мужественно и бесповоротно отрекся от старого мира и запечатлел открывшийся

ему в романтических пожарах и метелях образ новой, освобожденной России. Ненависть Блока к старому миру, та «святая злоба», с которой относился он к «буржуазной сволочи» (слова Блока), сказались в «Двенадцати» в полную меру. «Кондовая» и «толстозадая» Святая Русь и ее персонажи — «барыня в каракуле», «писатель-вития», «товарищу поп» и буржуй, стоящий, «как пес голодный», — все это отребье старого мира, выметаемое ветром Октября, разоблачено в поэме с величайшей беспощадностью. Но на образах людей, взявших на себя задачу не только разрушить старый мир, но и построить новый, лежит отпечаток присущего Блоку понимания революции как неорганизованного стихийного процесса, как бури, которая поднимается «не по воле отдельных людей».

Блок слышал в революции по преимуществу одну «музыку» — музыку разрушения старого мира, и именно ее громовое звучание передал в своей поэме. Разумное, организующее начало пролетарской революции, воплощенное в авангарде рабочего класса — большевистской партии и в ее вождях, решавших конкретные задачи социалистического переустройства жизни на одной шестой части земного шара, — не получило отражения в «Двенадцати», и это, конечно, является существенным идейным пороком поэмы. Правда, Блок записал в дневнике в те самые дни, когда создавалась поэма: «Вот что

я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой». Но творчески реализовать это свое понимание он уже не успел.

Ложным оказался в поэме символический образ Христа, «с кровавым флагом» возглавляющего двенадцать красногвардейцев. Сам Блок отнюдь не имел в виду религиозно оправдать, «освятить» этим образом революцию. Напротив, в сознании Блока Христос издавна присутствовал вне религиозной легенды, не как канонический церковный образ, но как художественный образ-символ, знаменующий бунтарское, освободительное начало (таков, например, «сжигающий Христос» в стихотворении «Задебренные лесом кручи...»).

Из написанного вслед за «Двенадцатью» очерка «Катилина» и из других высказываний Блока выясняется, какое содержание вкладывал он в образ Христа в своей поэме. Суть дела заключается в том, что христианство, в понимании Блока, было силой, которая нанесла сокрушительный удар растленной римской государственности: ветер христианства «разросся в бурю, истребившую языческий старый мир». С присущей ему склонностью устанавливать исторические аналогии, Блок сближал свое время с эпохой раннего христианства, проводил параллель между разлагавшейся Римской империей и царской Россией накануне ее крушения.

Таким образом, Христос «Двенадцати» был в представлении Блока символом того нового мира, во имя которого герои поэмы творят возмездие над старым миром и крепко держат свой революционный шаг. Такова была внутренняя логика блоковского замысла. Но каковы бы ни были субъективные осмысления поэтом образа Христа, образ этот, в течение веков служивший орудием попущины, мистики и философского идеализма, несет в себе объективно реакционный смысл и резко противоречит общей идейной направленности поэмы.

При всем том идейно-художественная весомость и историко-литературное значение «Двенадцати» целиком определяются высоким революционно-романтическим пафосом и живым ощущением всемирно-исторического смысла, величия и размаха русской пролетарской революции, устремленности ее в будущее. Перед этим главным и основным в поэме отступает на задний план все остальное и в том числе — затемненное и ограниченное понимание реальных движущих сил пролетарской революции.

Вдаль идут державным шагом... —

сказано в поэме о ее героях — двенадцати красногвардейцах. Именно вдаль — то-есть в далекое будущее, и именно державным

шагом — то-есть как новые хозяева жизни, хозяева новой, Советской державы.

На это главное и основное, что есть в «Двенадцати», указал в свое время А. М. Горький. Говоря (в одной из своих заметок 1920—1921 гг.) о том, что истинно романтическая литература — это та, которая «верует в завтрашний день», в которой «сквозит сияние будущего», Горький сослался на поэму Блока.¹

«Двенадцать» — наивысшее творческое достижение Блока. Проникающий поэму революционный пафос наложил отпечаток на всю ее художественную структуру. Грозная атмосфера Октябрьских дней ощущается в поэме — в ее прерывистых ритмах, в напряженности стихового темпа, в полифоническом богатстве интонаций, в пейзаже, очерченном резкими, плакатно-четкими чертами — «в две краски» («Черный вечер. Белый снег»).

Голос Блока зазвучал в «Двенадцати» не только с новой силой, но и по-новому. Он расширил свое искусство, выступил смелым новатором стиха, снова резко изменил свою поэтическую манеру и создал произведение, в котором с наибольшей отчетливостью выявилось его давнее и настойчивое стремление выработать ясный, точный и простой поэтический стиль. Новое революционное со-

¹ См. Александр Блок. Полное собрание стихотворений, т. I, Л., 1946, стр. XLII.

держание властно требовало новой стихотворной формы, и Блок обратился к народным формам стиха. Он смело применил в своей Октябрьской поэме частушку — эту простейшую и подлинно народную песенную форму, подняв ее на высоту громадного драматического напряжения и сделав ее монументальной.

В «Двенадцати» Блок пошел еще дальше по пути свободного скрещивания различных стилевых традиций. В поэме сочетаются намеренно угловатый, почти прозаический рассказ с подчеркнутыми разговорными интонациями (первая глава), чеканные лозунговые формулы («Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!..»), солдатская и фабричная частушка, фольклорная «запалка» («Ох, ты, горе-горькое...»), городской «мещанский» романс («Не слышно шуму городского...»), торжественная патетика высокого стихотворного строя (финал). Народные песенно-частушечные формы стиха и стиховые лозунги, с таким блеском разработанные в «Двенадцати», в перспективе дальнейшего развития русской поэзии должны рассматриваться в соотношении с творчеством Маяковского, который сам отмечал родственную близость своей поэтики с поэтикой «Двенадцати».

Одновременно с «Двенадцатью» были написаны «Скифы» — монументальная ода ораторского стиля, в которой поставлена тема

исторических судеб и задач новой революционной России. Блоковский пафос обличения буржуазного мира, его бездушной цивилизации, кующей оружие войны, его фальшивой демократии и лицемерной морали приобрел в «Скифах» отчетливое политическое звучание, поскольку стихотворение это было направлено против западноевропейских империалистов, собиравшихся в крестовый поход на Советскую Россию («Скифы» были написаны под впечатлением известия об угрозе наступления немецких войск на Петроград). Блок обличал преступные замыслы интервентов, — и в этом заключается реальный и злободневный смысл его революционно-патриотической оды.

Необходимо, впрочем, отметить, что этот реальный смысл в известной мере затуманен реакционной идеей «панмонголизма». Отсюда — противоречия, без труда обнаруживаемые в «Скифах».

Прежде всего и больше всего это, конечно, — патетический и восторженный гимн освобожденной России, которую поэт понимает как залог грядущего мира и братства народов, средоточие всего лучшего, ценного и передового, что было создано человечеством. От имени этой России поэт бросает гордый вызов старому миру и произносит ему беспощадный приговор. Но вместе с тем он пророчествует о возможном столкновении якобы враждебных рас и предрекает буржуазному Западу

гибель от схватки со стихийными силами Востока, донные сдерживаемого Россией. Разумеется, эта «философия истории» принадлежит к числу глубочайших идеологических заблуждений Блока и свидетельствует о том, что резкие противоречия в мировоззрении поэта, связанные с его прошлым, так и не были изжиты им до конца.¹

Однако фальшивая нота «панмонголизма» не может заглушить революционно-патриотическое звучание «Скифов». Нужно по достоинству оценить это произведение, учитывая, в какой исторической обстановке оно было создано. В то время, когда люди старого мира оплакивали свою «Россию», когда всевозможные буржуазные «витии» печатали «Плачи о гибели русской земли», когда родина наша была окружена кольцом вражеской блокады, — в русской поэзии раздался мужественный, твердый голос Блока, верующий в великую роль и мировое назначение молодой Советской державы. Как национальный поэт, как поэт-трибун, обратился

1 Впрочем, в постановке данного вопроса несомненно также переключка Блока с Пушкиным («Клеветникам России»). Блок окружает новыми ассоциациями поднятую Пушкиным тему исторической миссии России, принявшей на себя удар монгольских завоевателей и тем самым спасшей западную культуру, а в 1812 г. кровью своих сынов искупившей «вольность, честь и мир» Европы.

Блок к врагам революции с грозным словом предупреждения:

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!..

В последний раз — опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

При всей неотчетливости, ограниченности, зачастую ошибочности своего понимания и истолкования Октябрьских событий, Блок навсегда связал свое имя с нашей великой революцией. Гражданская доблесть и революционный пафос поэта, чуждого пролетариату по своему мировоззрению, его ненависть к старому миру и его свободная мечта о будущем — все это оказалось созвучным пафосу, героике, ненависти и мечте народных масс, совершивших величайшую в истории человечества революцию.

Признав историческую правду пролетарской революции, Блок откликнулся на нее с громадным эмоциональным сочувствием и «восторгом самозабвения», но по всему строю и самой природе своего мировоззрения оказался бессилён с достаточной глубиной постичь ее объективный смысл и реальные перспективы. Следует, однако, подчеркнуть, что принятие Блоком Октябрьской революции не носило декларативного характера. После Ок-

тября он записал в дневнике, что, когда приходит настоящая революция, из людей старого мира остаются в истории только те, кто «способен идти вместе с народом». Блок пошел вместе с народом. Он отдал революционному народу все силы и знания. В числе лучших, честнейших представителей старой интеллигенции, объединенных и возглавленных А. М. Горьким, он принял самое живое участие в строительстве советской культуры.

Блок умер (7 августа 1921 г.) в самом начале новой революционной эпохи, когда все новое находилось еще в процессе первоначального формирования. Ему не суждено было увидеть свершения того, «что было задумано». Но до конца жизни он хранил несокрушимую веру в величие и непобедимость своей родины и говорил о грандиозных очертаниях будущего:

..вдали я вижу море, море,
Исполинский очерк новых стран...

* * *

Последний великий поэт старой дооктябрьской России, Александр Блок был современником «всемирной смены двух всемирно-исторических эпох: эпохи буржуазии и эпохи социализма» (Ленин). В истории русской ли-

тературы творчество Блока знаменует собою рубеж, лежащий между поэзией старого мира и поэзией советской эпохи, отражающей формирование нового, социалистического и коммунистического общества.

Вл. Орлов

СТИХОТВОРЕНИЯ

Там один и был цветок,
Ароматный, несравненный...

Жуковский

Я стремлюсь к роскошной воле,
Мчусь к прекрасной стороне,
Где в широком чистом поле
Хорошо, как в чудном сне.
Там цветут и клевер пышный,
И невинный василек,
Вечно шелест легкий слышно:
Колос клонит... Путь далек!
Есть одно лишь в океане,
Клонит лишь одно траву...
Ты не видишь там, в тумане,
Я увидел — и сорву!

7 августа 1893

ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ

(Картина В. Васнецова)

На глядах бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

23 февраля 1899

Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом,
А в сердце, замирая, пел
Далекий голос песнь рассвета.
Рассвета песнь, когда заря
Стремилась гаснуть, звезды рдели,
И неба вышние моря
Вечерним пурпуром горели!..
Душа горела, голос пел,
В вечерний час звуча рассветом.
Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом.

18 мая 1899

Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Молча с тобою мы шли..
Шли мы — луна поднималась
Выше из темных оград,
Ложной дорога казалась —
Я не вернулся назад.
Наша любовь обманулась,
Или стезя увлекла —
Только во мне шевельнулась
Синяя города мгла..
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Мы безрассудно пошли..

23 августа 1899

За краткий сон, что нынче снится,
А завтра — нет,
Готов и смерти покориться
Младой поэт.

Я не таков: пусть буду снами
Заворожен, —
В мятежный час взмахну крылами
И сброшу сон.

Опять — тревога, опять — стремленье,
Опять готов
Всей битвы жизни я слушать пенье
До новых снов!

25 декабря 1899

На небе зарево. Глухая ночь мертва.
Толпится вокруг меня лесных деревьев громада,
Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града.

Ты различишь домов тяжелый ряд,
И башни, и зубцы бойниц его суровых,
И темные сады за камнями оград,
И стены гордые твердынь многовековых.

Так явственно из глубины веков
Пытливый ум готовит к возрождению
Забывтый гул погибших городов
И бытия возвратное движение.

10 июня 1900

Я вышел. Медленно сходили
На землю сумерки зимы.
Минувших дней молодые были
Пришли доверчиво из тьмы...

Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне...
И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине...

О, лучших дней живые были!
Под вашу песнь из глубины
На землю сумерки сходили
И вечности вставали сны!..

25 января 1901

Ветер принес издалёка
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалека
Звучные песни твои.

29 января 1901

И тяжкий сон житейского сознания
Ты огряхнешь, тоскуя и любя.

Вл. Соловьев

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901

Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла и огня за рекой?

Фет

Сумерки, сумерки вешние,
Хладные волны у ног,
В сердце — надежды нездешние,
Волны бегут на песок.

Отзвуки, песня далекая,
Но различить — не могу.
Плачет душа одинокая
Там, на другом берегу.

Тайна ль моя совершается,
Ты ли зовешь вдалеке?
Лодка ныряет, качается,
Что-то бежит по реке.

В сердце — надежды нездешние,
Кто-то навстречу — бегу...
Отблески, сумерки вешние,
Клики на том берегу.

16 августа 1901

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо,
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное
Солнце и ветер в лицо!
С ними подруга желанная
Всходит ко мне на крыльцо!

3 октября 1901

НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД

Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.

Скрипнет снег — сердца займутся —
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше — улица темна.
Дай, взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные — помеха,
Милый глянет на крыльцо...
Но туман не шелохнется,
Жду полуночной поры.
Кто-то шепчет и смеется,
И горят, горят костры...
Скрипнет снег — в морозной дали
Тихий, крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали...
— Ваше имя? — Смех в ответ...
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело всё крыльцо...
И смеющийся, и нежный
Закрывает мне лицо...

Лежат холодные туманы,
Бледнея, кра́дется луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена...

31 декабря 1901

Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятн колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив — и ждет твоих шагов.

Ты здесь пройдешь, холодный камень
 тронешь,
Одетый страшной святостью веков,
И, может быть, цветок весны уронишь
Здесь, в этой мгле, у строгих образов.

Растут невнятно розовые тени,
Высок и внятн колокольный зов,
Ложится мгла на старые ступени...
Я озарен — я жду твоих шагов.

4 января 1902

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

Всё дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа,
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа.

Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.

22 февраля 1902

Странных и новых ищу на страницах
Старых испытанных книг,
Грежу о белых исчезнувших птицах,
Чую оторванный миг.

Жизнью шумящей нестройно взволнован,
Шопотом, криком смущен,
Белой мечтой неподвижно прикован
К берегу поздних времен.

Белая Ты, в глубинах несмутима,
В жизни — строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,
Дева, Заря, Купина.

Блекнут ланиты у дев златокудых,
Зори не вечны, как сны.
Терны венчают смиренных и мудрых
Белым огнем Купины.

4 апреля 1902

Мы встречались с тобой на закате.
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твоё белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.
Впереди — на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний —
Не приемлет лазурная тишь...
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Всё померкло, прошло, отошло...
Белый стан, голоса панихиды
И твоё золотое весло.

13 мая 1902

Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кадилыный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.

Люблю вечернее моление
У белой церкви над рекой,
Передзакатное селенье
И сумрак мутно-голубой.

Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты,
И за церковную ограду
Бросаю белые цветы.

Падет туманная завеса.
Жених сойдет из алтаря.
И от вершин зубчатых леса
Забрежжит брачная заря.

7 июля 1902

Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
Зеленею, таинственный клен,
Неизменно склоненный к тебе.
Теплый ветер пройдет по листьям —
Задрожат от молитвы стволы,
На лице, обращенном к звездам, —
Ароматные слезы хвалы.
Ты придешь под широкий шатер
В эти бледные сонные дни
Заглядеться на милый убор,
Размечтаться в зеленой тени.
Ты одна, влюблена и со мной,
Нашепчу я таинственный сон,
И до ночи — с тоскою, с тобой,
Я с тобой, зеленеющий клен.

31 июля 1902

Свобода смотрит в синеву.
Окно открыто. Воздух резок.
За желто-красную листву
Уходит месяца отрезок.

Он будет ночью — светлый серп,
Сверкающий на жатве ночи.
Его закат, его ущерб
В последний раз ласкает очи.

Как и тогда, звенит окно.
Но голос мой, как воздух свежий,
Пропел давно, замолк давно
Под тростником у прибережий.

Как бледен месяц в синеве,
Как золотится тонкий волос...
Как там качается в листве
Забывтый, блеклый, мертвый колос...

10 октября 1902

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.

25 октября 1902

Стою у власти, душой одинок,
Владыка земной красоты.
Ты, полный страсти ночной цветок,
Полюбила мои черты.

Склоняясь низко к моей груди,
Ты печальна, мой вешний цвет.
Здесь сердце близко, но там впереди
Разгадки для жизни нет.

И, многовластный, числю, как встарь,
Ворожу и гадаю вновь,
Как с жизнью страстной я, мудрый царь,
Сочетаю Тебя, Любовь?

14 ноября 1902

Запевающий сон, зацветающий цвет,
Исчезающий день, погасающий свет.

Открывая окно, увидал я сирень,
Это было весной — в улетающий день.

Раздышались цветы — и на темный карниз
Передвинулись тени ликующих риз.

Задыхалась тоска, занималась душа,
Распахнул я окно, трепеща и дрожа.

И не помню — откуда дохнула в лицо,
Запевая, сгарая, взошла на крыльцо.

Сентябрь—декабрь 1902

Мне снились веселые думы,
Мне снилось, что я не один...
Под утро проснулся от шума
И треска несущихся льдин.

Я думал о сбывшемся чуде...
А там, наточив топоры,
Веселые красные люди,
Смеясь, разводили костры:

Смолили тяжелые челны...
Река, распевая, несла
И синие льдины, и волны,
И тонкий обломок весла...

Пьяна от веселого шума,
Душа небывальем полна...
Со мною — весенняя дума,
Я знаю, что Ты не одна...

11 марта 1903

Отворяются двери — там мерцанья,
И за ярким окошком — виденья.
Не знаю — и не скрою незнанья,
Но усну — и потекут сновиденья.

В тихом воздухе — тающее, знающее...
Там что-то притаилось и смеется.
Что смеется? Мое ли, вздыхающее,
Мое ли сердце радостно бьется?

Весна ли за окнами — розовая, сонная?
Или это Ясная мне улыбается?
Или только мое сердце влюбленное?
Или только кажется? Или всё узнается?

17 марта 1903

Я вырезал посох из дуба
Под ласковый шопот вьюги.
Одежды бедны и грубы,
О, как недостойны подруги!

Но найду, и нищий, дорогу,
Выходи, морозное солнце!
Проброжу весь день, ради бога,
Вечеру постучусь в оконце...

И откроет белой рукою
Потайную дверь предо мною
Молодая, с золотой косою,
С ясной, открытой душою.

Месяц и звезды в косах...
— Входи, мой царевич приветный...
И бедный дубовый посох
Заблестит слезой самоцветной...

25 марта 1903

Просыпаюсь я — и в поле туманно,
Но с моей вышки — на солнце укажу.
И пробуждение мое безжеланно,
Как девушка, которой я служу.

Когда я в сумерки проходил по дороге,
Заприметился в окошке красный огонек.
Розовая девушка встала на пороге
И сказала мне, что я красив и высок.

В этом вся моя сказка, добрые люди.
Мне больше не надо от вас ничего:
Я никогда не мечтал о чуде —
И вы успокойтесь — и забудьте про него.

2 мая 1903

Ты из шопота слов родилась,
В вечеряющий сад забралась
И осыпала вишневый цвет,
Прозвенел твой весенний привет.
С той поры, что ни ночь, что ни день,
Надо мной твоя легкая тень,
Запах белых цветов среди садов,
Шелест легких шагов у прудов,
И тревожной бессонницы прочь
Не прогонишь в прозрачную ночь.

Май 1903

Скрипка стонет под горой.
В сонном парке вечер длинный,
Вечер длинный — Лик Невинный,
Образ девушки со мной.

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: Живи...
Образ девушки любимой —
Повесть ласковой любви.

Июнь 1903

Ей было пятнадцать лет. Но по стуку
Сердца — невестой быть мне могла.
Когда я, смеясь, предложил ей руку,
Она засмеялась и ушла.

Это было давно. С тех пор проходили
Никому не известные годы и сроки.
Мы редко встречались и мало говорили,
Но молчанья были глубоки.

И зимней ночью, верен сновиденью,
Я вышел из людных и ярких зал,
Где душные маски улыбались пенью,
Где я ее глазами жадно провожал.

И она вышла за мной, покорная,
Сама не ведая, что́ будет через миг.
И видела лишь ночь городская, черная,
Как прошли и скрылись: невеста и жених.

И в день морозный, солнечный, красный —
Мы встретились в храме — в глубокой
тишине:
Мы поняли, что годы молчанья были ясны,
И то, что свершилось, — свершилось
в вышине.

Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душная, песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни — спою когда-нибудь.

16 июня 1903

ФАБРИКА

В соседнем доме окна желты,
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

24 ноября 1903

ПЕТР

Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый.

Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.

Зажгутся нити фонарей,
Блеснут витрины и троттуары.
В мерцаньи тусклых площадей
Потянутся рядами пары.

Плащами всех укроет мгла,
Потонет взгляд в манящем взгляде.
Пусть извинность из угла
Протяжно молит о пощаде!

Там, на скале, веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила!

Бегите все на зов! на лов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов
Мужских — крикливых, женских —
струнных!

Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

22 февраля 1904

Вечность бросила в город
Оловянный закат.
Край небесный распорот,
Переулки гудят.

Всё бессилье гаданья
У меня на плечах.
В окнах фабрик — преданья
О разгульных ночах.

Оловянные кровли —
Всем безумным приют.
В этот город торговли
Небеса не сойдут.

Этот воздух так гулок,
Так заманчив обман.
Уводи, переулок,
В дымно-сизый туман.

26 июня 1904

Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо-каменное тело
Кровью солнца окатил.

Стены фабрик, стекла окон,
Грязно-рыжее пальто,
Развевающийся локоп —
Всё закатом залито.

Блещут искристые гривы
Золотых, как жар, коней,
Мчатся бешеные дива
Жадных облачных грудей,

Красный дворник плещет ведра
С пьяно-алою водой,
Пляшут огненные бедра
Проститутки площадной,

И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык.

28 июня 1904

ГИМН

В пыльный город небесный кузнец прикатил
Огневой переменчивый диск.

И по улицам — словно бесчисленных пил
Смех и скрежет и визг.

Вот в окно, где спокойно текла
Пыльно-серая мгла,
Луч вонзился в прожженное сердце стекла,
Как игла.

Все испуганно пьяной толпой
Покидают могилы домов...
Вот — всем телом прижат под фабричной
трубой
Незнакомый с весельем разгульных
часов...

Он вонзился ногтями в кирпич
В унизительной позе греха...
Но небесный кузнец раздувает меха,
И свистит раскаленный пылающий бич.

Вот — на груде горячих камней
Распростерта не смевшая пасть...

Грудь раскрыта — и бродит меж темных
Набежавшая страсть... бровей

Вот — монах, опустивший глаза,
Торопливо идущий вперед...
Но и тех, кто безумно обеты дает,
Кто бесстрастные гимны поет,
Настигает гроза!

Всем раскрывшим пред солнцем тоскливую
грудь
На распутьях, в подвалах, на башнях — хвала!
Солнцу, дерзкому солнцу, пробившему
путь, —
Наши гимны, и песни, и сны — без числа!..

Золотая игла!
Исполинским лучом пораженная мгла!
Опаленным, сметенным, сожженным дотла —
Хвала!

27 августа 1904

Поднимались из тьмы погребов.
Уходили их головы в плечи.
Тихо выросли шумы шагов,
Слова незнакомых наречий.

Скоро прибыли толпы других,
Волочили кирки и лопаты.
Расползлись по камням мостовых,
Из земли воздвигали палаты.

Встала улица, серым полна,
Заткалась паутиною пряжей.
Шелестя, прибывала волна,
Затрудняя проток экипажей.

Скоро день глубоко отступил,
В небе дальнем расставивший зори.
А незримый поток шелестил,
Проливаясь в наш город, как в море.

Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!
В тех же муках рождала их мать,
Так же нежно кормила у груди...

В пелене отходящего дня
Нам была эта участь понятна...
Нам последний закат из огня
Сочетал и соткал свои пятна.

Не стерег иступленный дракон,
Не пылала под нами геенна.
Затопили нас волны времен,
И была наша участь — мгновенна.

10 сентября 1904

ПЕСНЯ МАТРОСОВ

Подарило нам море
Обручальное кольцо!
Целовало нас море
В загорелое лицо!
Приневастилась
Морская глубина!
Неневастилась
Морская быстрина!
С ней жизнь вольна,
С ней смерть не страшна.
Она, матушка, свободна, холодна!
С ней погуляем
На вольном просторе!
Синее море!
Красные зори!
Ветер, ты, пьяный,
Трепли волоса!
Ветер соленый,
Неси голоса!
Ветер, ты, вольный,
Раздуй паруса!

16 декабря 1904

Барка жизни встала
На большой мели.
Громкий крик рабочих
Слышен издали.
Песни и тревога
На пустой реке.
Входит кто-то сильный
В сером армяке.
Руль дощатый сдвинул,
Парус распустил
И багор закинул,
Грудью надавил.
Тихо повернулась
Красная корма,
Побежали мимо
Пестрые дома.
Вот они далеко,
Весело плывут.
Только нас с собою,
Верно, не возьмут!

Декабрь 1904

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.

Были улицы пьяны от криков.
Были солнца в сверкании витрин.
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!

Это были цари — не скитальцы!
Я спросил старика у стены:
— Ты украсил их тонкие пальцы
— Жемчугами несметной цены?

— Ты им дал разноцветные шубки?
— Ты зажег их снопами лучей?
— Ты раскрасил пунцовые губки,
— Синеватые дуги бровей?

Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпою мечтать.
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать...

А они проходили всё мимо,
Смутно каждая в сердце тая,
Чтоб навеки, ни с кем не сравнимой,
Отлететь в голубые края.

И мелькала за парюю пара...
Ждал я светлого ангела к нам,
Чтобы здесь, в ликованьи троттуара,
Он одну приобщил небесам...

А вверху — на уступе опасном —
Тихо съжившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.

Декабрь 1904

Шли на приступ. Прямо в грудь
Штык наточенный направлен.
Кто-то крикнул: — Будь прославлен!
Кто-то шепчет: — Не забудь!

Рядом пал, всплеснув руками,
И над ним сомкнулась рать.
Кто-то бьется под ногами,
Кто — не время вспоминать...

Только в памяти веселой
Где-то вспыхнула свеча.
И прошли, стопой тяжелой
Тело теплое топча...

Ведь никто не встретит старость —
Смерть летит из уст в уста...
Высоко пылает ярость,
Даль кровавая пуста...

Что же! громче будет скрежет,
Слаще боль и ярче смерть!
И потом — земля разнежит
Перепуганную твердь.

Январь 1905

Улица, улица...
Тени беззвучно спешащих
Тело продать,
И забвенье купить,
И опять погрузиться
В сонное озеро города — зимнего холода...

Спите. Забудьте слова лучезарных.

О, если б не было в окнах
Светов мерцающих!
Штор и пунцовых цветочков!
Лиц, наклоненных над скудной работой!

Всё тихо.
Луна поднялась.
И облачных перьев ряды
Разбежались далёко.

Январь 1905

На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок,
Прозвенел золотой голосок.

Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца,
И поднять не посмела лица.

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Там — в березовом дальнем кругу —
Старикашка сгибал из березы дугу
И заметил ее на лугу.

Закричал и запрыгал на пне:
— Ты, красавица, верно — ко мне!
— Стосковалась в своей тишине!

За корявые пальцы взялась,
С бороною зеленой сплелась
И с туманом лесным поднялась.

Так тоскуют они об одном,
Так летают они вечерком,
Так венчалась весна с колдуном.

24 апреля 1905

ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Королева жила на высокой горе,
И над башней дымились прозрачные сны
облаков.
Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал
о любви на заре,
В те часы, когда Рейн выступал из своих
берегов.

Над зелеными рвами текла, розовея, весна.
Непомерность ждала в синевах отдаленной
черты.
И влюбленность звала — не дала отойти от
окна,
Не смотреть в роковые черты, оторваться
от светлой мечты.

— Подними эту розу, — шепнула — и ветер
донес
Тишину улетающих лат, бездыханный ответ.
— В синем утреннем небе найдешь купину
расцветающих роз, —
Он шепнул, и сверкнул, и взлетел, и она
полетела вослед.

И за облаком плыло и пело мерцание тьмы.
И влюбленность в погоне забыла, забыла
свой щит.
И она, окрылясь, полетела из отчей
тюрьмы —
На воздушном пути королева полет свой
стремит.

Уж в стремнинах туман, и рога созывают
стада,
И заветная мгла протянула плащи
и скрестила мечи,
И вечернюю грусть тишиной отражает вода,
И над лесом погасли лучи.

Не смолкает вдали властелинов борьба,
Распри дедов над ширью земель.
Но различна судьба: здесь — мечтанье
раба,
Там — воздушной Влюбленности хмель.

И в воздушный покров улетела на зов
Навсегда... О, Влюбленность! Ты строже
судьбы!
Повелительней древних законов отцов!
Слаще звука военной трубы!

3 июня 1905

БАЛАГАНЧИК

Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный чорт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.

Мальчик

Он спасется от черного гнева
Мановением белой руки.
Посмотри: огоньки
Приближаются слева...
Видишь факелы? видишь дымки?
Это, верно, сама королева...

Девочка

Ах, нет, зачем ты дразнишь меня?
Это — адская свита...
Королева — та ходит средь белого дня,
Вся гирляндами роз перевита,
И шлейф ее носит, мечами звеня,
Вздыхающих рыцарей свита.

Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: — Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей — картонный шлем!
А в руке — деревянный меч!

Заплакали девочка и мальчик,
И закрылся веселый балаганчик.

Июль 1905

ОСЕННЯЯ ВОЛЯ

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, расппевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных,
статных —

Умирает, не любя...
Приюти ты в даях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Июль 1905

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август 1905

Там, в ночной завывающей стуже,
В поле звезд отыскал я кольцо.
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо.

Вот плывут ее вьюжные трели,
Звезды светлые шлейфом влача,
И взлетающий бубен метели,
Бубенцами призывно бренча.

С легким треском рассыпался веер, —
Ах, что значит — не пить и не есть!
Но в глазах, обращенных на север,
Мне холодному — жгучая весть...

И над мигом свивая покровы,
Вся окутана звездами вьюг,
Уплываешь ты в сумрак снеговой,
Мой от века загаданный друг.

Август 1905

У тихаёт светлый ветер,
Наступает серый вечер,
Ворон канул на сосну,
Тронул сонную струну.

В стороне чужой и темной
Как ты вспомнишь обо мне?
О моей любви скромной
Закручинишься ль во сне?

Пусть душа твоя мгновенна —
Над тобою неизменна
Гордость юная твоя,
Верность женская моя.

Не гони летящий мимо
Призрак легкий и простой,
Если будешь, мой любимый,
Счастлив с девушкой другой...

Ну, так с богом! Вечер близок,
Быстрый лёт касаток низок,
Надвигается проза,
Ночь глядит в твои глаза.

21 августа 1905

Осень поздняя. Небо открытое,
И леса сквозят тишиной.
Прилегла на берег размытый
Голова русалки больной.

Низко ходят туманные полосы,
Пронизали тень камыша.
На зеленые длинные волосы
Упадают листья, шурша.

И опушками отдаленными
Месяц ходит с легким хрустом и глядит.
Но, запутана узлами зелеными,
Не дышит она и не спит.

Бездыханный покой очарован.
Несказанная боль улеглась.
И над миром, холодом скован,
Пролился звонко-синий час.

Август 1905

ПЛЯСКИ ОСЕННИЕ

Волновать меня снова и снова —
В этом тайная воля твоя,
Радость ждет сокровенного слова,
И уж ткань золотая готова,
Чтоб душа засмеялась моя.

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса улетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба.

Так волнуют прозрачные звуки,
Будто милый твой голос звенит,
Но молчишь ты, поднявшая руки,
Устремившая руки в зенит.

И округлые руки трепещут,
С белых плеч ниспадают струи,
За тобой в хороводах расплещут
Осенницы одежды свои.

Осененная реющей влагой,
Распустила ты пряди волос.
Хороводов твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.

Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не петь, не плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопою твоей не сгорать.

С нами, к нам — легкокрылая младость.
Нам воздушная участь дана...
И откуда приходит к нам Радость,
И откуда плывет Тишина?

Тишина умирающих знаков —
Это светлая в мире пора:
Сон, заветных исполненный знаков,
Что сегодня пройдет, как вчера,

Что полеты времен и желаний —
Только всплески девических рук —
На земле, на зеленой поляне,
Неразлучный и радостный круг.

И безбурное солнце не будет
Нарушать и гневить Тишину,
И лесная трава не забудет,
Никогда не забудет весну.

И снежинки по склонам оврага
Заметут, заровняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, где воля твоя.

1 октября 1905

МИТИНГ

Он говорил умно и резко,
И тусклые зрачки
Метали прямо и без блеска
Слепые огоньки.

А снизу устремлялись взоры
От многих тысяч глаз,
И он не чувствовал, что скоро
Пробьет последний час.

Его движенья были верны,
И голос был суров,
И борода качалась мерно
В такт запыленных слов.

И серый, как ночные своды,
Он знал всему предел.
Цепями тягостной свободы
Уверенно гремел.

Но те, внизу, не понимали
Ни чисел, ни имен,
И знаком долга и печали
Никто не заклеимен.

И тихий ропот поднял руку,
И дрогнули огни.
Пронесся шум, подобный звуку
Упавшей головни.

Как будто свет из мрака брызнул,
Как будто был намек...
Толпа проснулась. Дико взвизгнул
Пронзительный свисток.

И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,
И человек упал на плиты
С разбитой головой.

Не знаю, кто ударом камня
Убил его в толпе,
И струйка крови, помню ясно,
Осталась на столбе.

Еще свистки ломали воздух,
И крик еще стоял,
А он уж лег на вечный отдых
У входа в шумный зал...

Но огонек блеснул у входа...
Другие огоньки...
И звонко брякнули у свода
Введенные курки.

И промелькнуло в беглом свете,
Как человек лежал,

И как солдат ружье над мертвым
Наперевес держал.

Черты лица бледней казались
От черной бороды,
Солдаты, молча, собирались
И строились в ряды.

И в тишине, внезапно вставшей,
Был светел круг лица,
Был тихий ангел пролетающий,
И радость — без конца.

И были строги и спокойны
Открытые зрачки,
Над ними вытянулись стройно
Блестящие штыки.

Как будто, спрятанный у входа
За черной пастью дул,
Ночным дыханием свободы
Уверенно вздохнул.

10 октября 1905

Вися над городом всемирным,
В пыли прошедшей заточен,
Еще монарха в утре лирном
Самодержавный клонит сон.

И предок царственно-чугунный
Всё так же бредит на змее,
И голос черни многострунный
Еще не властен на Неве.

Уже на домах веют флаги,
Готовы новые пенцы,
Но тихи струи невской влаги,
И слепы темные дворцы,

И, если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи.

18 октября 1905

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль.
Еще несчастных, просящих хлеба,
Никому не жаль, никому не жаль!

И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невшском сне.
И дикие вопли: Свергни! О, свергни!
Не будят жалости в сонной волне...

И в небе сером холодные светы
Одели Зимний дворец царя.
И латник в черном¹ не даст ответа,
Пока не застигнет его заря.

Тогда, алея над водной бездной,
Пусть он угрюмой опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе
беспользней
За древнюю сказку мертвым лечь...

18 октября 1905

¹ Статуя на кровле Зимнего дворца (Прим. Блока).

СЫТЫЕ

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок; дам, старух,
Над скукой их обедов чинных —
Свет электрический потух.

К чему-то вносят, ставят свечи,
На лицах — желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шеваются мозги.

Так — негодует всё, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Пусть доживут свой век привычно —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать.

10 ноября 1905

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла.

Проплыла она — и стала,
Незаметная, близка.
И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая легка.

Меж двумя стенами бора
Редкий падает снежок.
Перед нами — семафора
Зеленеет огонек.

Небо — в зареве лиловом,
Свет лиловый на снегах,
Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах.

Одиноко вскрикнет птица,
Отряхнув крылами ель,
И засыплет нам ресницы
Белоснежная метель...

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна...
Скоро Финского залива
Нам откроется страна.

Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядую камыша...

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем
Всё, что видели, сестре...

Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.
Скажет каждому: — Будь весел.
— За окном лежат снега.

13 января 1906

СОЛЬВЕЙГ

Сольвейг прибегает на лыжах.

Ибсен. Пер Гюнт

Сольвейг! Ты прибежала на лыжах
Улыбнулась пришедшей весне!
ко мне,

Жил я в бедной и темной избушке моей
Много дней, меж камней, без огней.

Но веселый, зеленый твой глаз
Я топор широко размахнул!
мне блеснул —

Я смеюсь и крушу вековую сосну,
Я встречаю невесту — весну!

Пусть над новой избой
Будет свод голубой —
Полно соснам скрывать синеву!

Это небо — твое!
Это небо — мое!
Пусть недаром я гордым слыву!

Жил в лесу, как во сне,
Пел молитвы сосне,
Надо мной распростершей красу.

Ты пришла — и светло,
Зимний сон разнесло,
И весна загудела в лесу!

Слышишь звонкий топор? Видишь
радостный взор,
На тебя устремленный в упор?

Слышишь песню мою? Я крушу и пою
Про весеннюю Сольвейг мою!

Под моим топором, распевая хвалы,
Раскачнулись в лазури стволы!

Голос твой — он звончей песен старой
сосны!
Сольвейг! Песня зеленой весны!

20 февраля 1906

НЕЗНАКОМКА

1

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»¹ кричат.

И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

¹ «Истина в вине!» — *Ред.*

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906

2

<В а р и а н т >

Там дамы щеголяют модами,
Там всякий лицеист остёр —
Над скукой дач, над огородами,
Над пылью солнечных озер.

Туда манит перстами алыми
И дачников волнует зря
Над запыленными вокзалами
Недостижимая заря.

Там, где скучаю так мучительно,
Ко мне приходит иногда
Она — бесстыдно упойтельна
И унизительно горда.

За толстыми пивными кружками,
За сном привычной суеты
Сквозит вуаль, покрытый мушками,
Глаза и мелкие черты.

Чего же жду я, очарованный
Моей счастливою звездой,
И оглушенный и взволнованный
Вином, зарею и тобой?

Вдыхая древними поверьями,
Шелками черными шумна,
Под шлемом с траурными перьями
И ты вином оглушена?

Средь этой пошлости таинственной,
Скажи, что делать мне с тобой —
Недостижимой и единственной,
Как вечер дымно-голубой?

Апрель 1906 — 28 апреля 1911

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года.

Тютчев

Прошли года, но ты — всё та же:
Строга, прекрасна и ясна;
Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина.

А я — склонен над грудой книжной,
Высокий, сгорбленный старик, —
С одною думой непостижной
Смотрю на твой спокойный лик.

Да. Нас года не изменили.
Живем и дышим, как тогда,
И, вспоминая, сохранили
Те баснословные года...

Их светлый пепел — в длинной урне.
Наш светлый дух — в лазурной мгле.
И всё чудесней, всё лазурней —
Дышать прошедшим на земле.

30 мая 1906

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Люблю тебя, ангел-хранитель во мгле,
Во мгле, что со мною всегда на земле.

За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.

За то, что связала нас тайна и ночь,
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.

За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы — муж и жена!

За цепи мои и заклятья твои.
За то, что над нами проклятье семьи.

За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.
За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных
Кто долго не верил огню моему.
в тюрьму,

Кто хочет за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня...

За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколение рабов,

И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа...

Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито —
Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —
С тобой в эту черную бездну смотрю.

И двойственно нам приказанье судьбы:
Мы вольные души! Мы злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма — впереди?

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

17 августа 1906

РУСЬ

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почишь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дола
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.

Где ведуньи с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно замедает вьюга
До крыши — утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвее.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал,
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты,
И вот, она не запятнала
Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь.
Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

24 сентября 1906

Передвечернею порою
Сходил я в сумерки с горы,
И вот передо мной — за мглою —
Черты печальные сестры.

Она идет неслышным шагом,
За нею шевелится мгла,
И по долинам, по оврагам
Вздыхают груди без числа.

— Сестра, откуда в дождь и холод
— Идешь с печальной толпой,
— Кого бичами выгнал голод
— В могилы жизни кочевой?

Вот подошла, остановилась
И факел подняла во мгле,
И тихим светом озарилось
Всё, что незримо на земле.

И там, в канавах придорожных,
Я, содрогаясь, разглядел
Черты мучений невозможных
И корчи ослабевших тел.

И вновь опущен факел душный,
И, улыбаясь мне, прошла —
Такой же дымной и воздушной,
Как окружающая мгла.

Но я запомнил эти лица
И тишину пустых орбит,
И обреченных вереница
Передо мной всегда стоит.

Сентябрь 1906

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где проклинали друг друга люди,
Убитые своим трудом.

Стараясь не запачкать платья,
Ты шла меж спящих на полу;
Но самый сон их был проклятье,
Вон там — в заплеванном углу...

Ты обернулась, заглянула
Доверчиво в мои глаза...
И на щеке моей блеснула,
Скатилась пьяная слеза.

Нет! Счастье — праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.
Нам скоротает век работа,
Мне — молоток, тебе — игла.

Сиди, да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко,
Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,
Авось, ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Сентябрь 1906

В ОКТЯБРЕ

Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая.
Гуляет на дворе.

Снежинка легкою пушинкою
Порхает на ветру,
И елка слабенькой вершинкою
Мотаает на юру.

Жилось легко, жилось и молодо —
Прошла моя пора.
Вон — мальчик, посинев от холода,
Дрожит среди двора.

Всё, всё по старому, бывалому,
И будет, как всегда:
Лошадке и мальчишке малому
Не сладки холода.

Да и меня без всяких поводов
Загнали на чердак.
Никто моих не слушал доводов,
И вышел мой табак.

А всё хочу свободной волею
Свободного житья,
Хоть нет звезды счастливой болес
С тех пор, как запил я!

Давно звезда в стакан мой канула, —
Ужели навсегда?..
И вот душа опять воспрянула:
Со мной моя звезда!

Вот, вот — в глазах плывет манящая,
Качается в окне..
И жизнь начнется настоящая,
И крылья будут мне!

И даже всё мое имущество
С собою захвачу!
Познал, познал свое могущество!..
Вот вскрикнул... и лечу!

Лечу, лечу к мальчишке малому,
Средь вихря и огня..
Всё, всё по старому, бывалому,
Да только — без меня!

Октябрь 1906

ОКНА ВО ДВОР

Одна мне осталась надежда:
Смотреться в колодезь двора.
Светает. Белеет одежда
В рассеянном свете утра.

Я слышу — старинные речи
Проснулись глубоко на дне.
Вон теплятся желтые свечи,
Забитые в чьем-то окне.

Голодная кошка прижалась
У жолоба утренних крыш.
Заплакать — одно мне осталось,
И слушать, как мирно ты спишь.

Ты спишь, а на улице тихо,
И я умираю с тоски,
И злое, голодное Лихо
Упорно стучится в виски...

Эй, малый, взгляни мне в оконце!..
Да нет, не заглянешь — пройдешь...
Совсем я на зимнее солнце,
На глупое солнце похож.

Октябрь 1906

Ночь. Город угомонился.
За большим окном
Тихо и торжественно,
Как будто человек умирает.

Но там стоит просто грустный,
Расстроенный неудачей,
С открытым воротом,
И смотрит на звезды.

— Звезды, звезды,
— Расскажите причину грусти!

И на звезды смотрит.

— Звезды, звезды,
— Откуда такая тоска?

И звезды рассказывают.
Всё рассказывают звезды.

Октябрь 1906

СЫН И МАТЬ

Моей матери

Сын осеняется крестом.
Сын покидает отчий дом.

В песнях матери оставленной
Золотая радость есть:
Только б он пришел прославленный,
Только б радость перенести!

Вот, в доспехе ослепительном,
Слышно, ходит сын во мгле,
Дух свой предал небожителям,
Сердце — матери-земле.

Петухи поют к заутрене,
Ночь испуганно бежит.
Хриплый рог туманов утренних
За спиной ее трубит.

Поднялись над луговинами
Кудри спутанные мхов,
Метят взорами совиными
В стаю легких облаков...

Вот он, сын мой, в светлом облаке,
В шлеме утренней зари!
Сыплет он стрелами колкими
В чернолесья, в пустыри!..

Веет ветер очистительный
От небесной синевы.
Сын бросает меч губительный,
Шлем снимает с головы.

Точит грудь его пронзенная
Кровь и горные хвалы:
Здравствуй, даль, освобожденная
От ночной туманной мглы!

В сердце матери оставленной
Золотая радость есть:
Вот он, сын мой, окровавленный!
Только б радость перенести!

Сын не забыл родную мать:
Сын воротился умирать.

4 октября 1906

Даль опустила синий полог
Над замком, башней и тобой.
Прости, царевна. Путь мой долог.
Иду за огненной весной.

Октябрь 1906

Так окрыленно, так напевно
Царевна пела о весне.
И я сказал: «Смотри, царевна,
Ты будешь плакать обо мне».

Но руки мне легли на плечи,
И прозвучало: «Нет. Прости.
Возьми свой меч. Готовься к сече.
Я сохраню тебя в пути.

Иди, иди, вернешься молод
И долгу верен своему.
Я сохраню мой лед и холод,
Замкнушь в хрустальном терему.

И будет радость в долгих взорах,
И тихо протекут года.
Вкруг замка будет вечный шорох,
Во рву — прозрачная вода...

Да, я готова к поздней встрече,
Навстречу руки протяну
Тебе, несущему из сечи
На острие копья — весну».

БАЛАГАН

Ну, старая кляча, пойдем
ломать своего Шекспира!

Кич

Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, побряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...

Тащите, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, итти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Ноябрь 1906

Хожу, брожу понурый,
Один в своей норе.
Придет шарманщик хмурый,
Заплачет на дворе...
О той свободной доле,
Что мне не суждена,
О том, что ветер в поле,
А на дворе — весна.
А мне — какое дело?
Брожу один, забыт.
И свечка догорела,
И маятник стучит.
Одна, одна надежда
Вон там, в ее окне.
Светла ее одежда,
Она придет ко мне.
А я, нахмутив брови,
Ей в сотый передам,
Как много портил крови
Знакомым и друзьям.
Опять нам будет сладко,
И тихо, и тепло...
В углу горит лампадка,
На сердце отлегло...
Зачем она приходит
Со мною говорить?

Зачем в иглу проводит
Веселенькую нить?
Зачем она роняет
Веселые слова?
Зачем лицо склоняет
И прячет в кружева?
Как холодно и тесно,
Когда ее здесь нет!
Как долго не известно,
Блеснет ли в окнах свет...
Лицо мое белее,
Чем белая стена...
Опять, опять сробею,
Когда придет она...
Ведь нечего бояться
И нечего терять...
Но надо ли сказаться?
Но можно ли сказать?
И что ей молвить — нежной?
Что сердце расцвело?
Что ветер веет снежный?
Что в комнате светло?

7 декабря 1906

ПОЖАР

Понеслись, блеснули в очи
Огневые языки,
Золотые брызги ночи,
Городские мотыльки.

Зданье дымом затянуло,
Тоблы темные текут...
Но вдали несутся гулы,
Светы новые бегут...

Крики брошены горстями
Золотых монет.
Над вспененными конями
Факел стелет красный свет.

И, крутя живые спицы,
Мчатся вихрем колесницы,
Впереди — скакун с трубой
Над испуганной толпой.

Скок по камню тяжело звонок,
Голос хриплой меди тонок,
Расплеснулась, широка,
Гулкой улицы река.

На блистательные шлемы
Каплет снежная роса...
Дети ночи черной — где мы? ..
Чьи взывают голоса? ..

Нет, опять погаснут зданья,
Нет, опять он обманул, —
Отдаленного восстанья
Надвигающийся гул...

Декабрь 1906

Ты смотришь в очи ясным зорям,
А город ставит огоньки,
И в переулках пахнет морем,
Поют фабричные гудки.

И в суете непобедимой
Душа туманам предана...
Вот красный плащ, летящий мимо,
Вот женский голос, как струна.

И помыслы твои несмелы,
Как складки современных риз...
И женщины ресницы-стрелы
Так часто опускают вниз.

Кого ты в скользкой мгле заметил?
Чьи окна светят сквозь туман?
Здесь ресторан, как храмы, светел,
И храм открыт, как ресторан...

На безисходные обманы
Душа напрасно понеслась:
И взоры дев, и рестораны
Погаснут все — в урочный час.

Декабрь 1906

НА ЧЕРДАКЕ

Что́ на свете выше
Светлых чердаков?
Вижу трубы, крыши
Дальних кабаков.

Путь туда заказан,
И на что — теперь?
Вот — я с ней лишь связан...
Вот — закрыта дверь...

А она не слышит —
Слышит — не глядит,
Тихая — не дышит,
Белая — молчит...

Уж не просит кушать...
Ветер свищет в щель.
Как мне любо слушать
Вьюжную свирель!

Ветер, снежный север,
Давний друг ты мне!
Подари ты веер
Молодой жене!

Подари ей платье
Белое, как ты!
Нанеси в кровать ей
Снежные цветы!

Ты дарил мне горе,
Тучи, да снега...
Подари ей зори,
Бусы, жемчуга!

Чтоб была нарядна
И, как снег, бела!
Чтоб глядел я жадно
Из того угла!..

Слаще пой ты, вьюга,
В снежную трубу,
Чтоб спала подруга
В ледяном гробу!

Чтоб она не встала,
Не скрипи, доска...
Чтоб не испугала
Милого дружка!

Декабрь 1906

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

И под знойным снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно-белом забытьи.

Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля...
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя...

И о той ли вольной воле
Ветер плачет вдоль реки,
И звенят, и гаснут в поле
Бубенцы, да огоньки?

Золотой твой пояс стянут,
Нагло скромен дикий взор!
Пусть мгновенья все обманут,
Канут в пламенный костер!

Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!

Как за темною вуалью
Мне на миг открылась даль...
Как над белой, снежной далью
Пала темная вуаль...

Декабрь 1906

ИЗ «СНЕЖНОЙ МАСКИ»

СНЕЖНОЕ ВИНО

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.

Я опрокинут в темных струях
И вновь вдыхаю, не любя,
Забытый сон о поцелуях,
О снежных вьюгах вокруг тебя.

И ты смеешься дивным смехом,
Змеишься в чаше золотой,
И над твоим соболиным мехом
Гуляет ветер голубой.

И как, глядясь в живые струи,
Не увидеть себя в венце?
Твои не вспомнить поцелуи
На запрокинутом лице?

29 декабря 1906

СНЕЖНАЯ ВЯЗЬ

Снежная мгла взвилась.
Легли сугробы кругом.

Да. Я с тобой незнаком.
Ты — стихов моих пленная вязь.

И тайно сплетая вязь,
Нити снежные тку и плету.

Ты не первая мне предалась
На темном мосту.

Здесь — электрический свет.
Там — пустота морей,
И скована льдами злая вода.

Я не открою тебе дверей.
Нет.
Никогда.

И снежные брызги влача за собой,
Мы летим в миллионы бездн...
Ты смотришь всё той же пленной
душой
В купол всё тот же — звездный...

И смотришь в печали,
И снег синей...

Темные дали,
И блистательный бег сарей...

И когда со мной встречаются
Неизбежные глаза, —

Глуби снежные вскрываются,
Приближаются уста...

Вышина. Глубина. Снеговая тишь.
И ты молчишь.
И в душе твоей безнадежной
Та же легкая, пленная грусть.

О, стихи зимы среброснежной!
Я читаю вас наизусть.

3 января 1907

ЕЕ ПЕСНИ

Не в земной темнице душевной
Я гублю.
Душу вверх ладье воздушной —
Кораблю.
Ты пойми душой послушной,
Что люблю.

Взор твой ясный к выси звездной
Обрати.
И в руке твой меч железный
Опусти.
Сердце с дрожью бесполезной
Укrotи.
Вихри снежные над бездной
Закрути.

Рукавом моих метелей
Задую.
Серебром моих веселий
Оглушу.
На воздушной карусели
Закружу.
Пряжей спутанной кудели
Обовью.
Легкой брагой снежных хмелей
Напою.

4 января 1907

КРЫЛЬЯ

Крылья легкие раскину,
Стены воздуха раздвину,
Страны дальние покину.

Вейтесь, искристые нити,
Льдинки звездные, плывите,
Вьюги дальние, вздохните!

В сердце — легкие тревоги,
В небе звездные дороги,
Среброснежные чертоги.

Сны метели светлозмейной,
Песни вьюги легковейной,
Очи девы чародейной.

И какие-то печали
Издали,
И туманные скрижали
От земли.
И покинутые в дали
Корабли.
И какие-то за мысом
Паруса.
И какие-то над морем
Голоса.

И расплеснут меж мирами,
Над забытыми пирами —
Кубок долгой страстной ночи,
Кубок темного вина.

4 января 1907

В УГЛУ ДИВАНА

Но в камине дозвенели
Угольки.

За окошком догорели
Огоньки.

И на выюжном море тонут
Корабли.

И над южным морем стонут
Журавли.

Верь мне, в этом мире солнца
Больше нет.

Верь лишь мне, ночное сердце,
Я — поэт!

Я, какие хочешь, сказки
Расскажу,

И, какие хочешь, маски
Приведу.

И пройдут любые тени
При огне,

Странных очерки видений
На стене.

И любой колени склонит
Пред тобой...

И любой цветок уронит
Голубой...

9 января 1907

ОНИ ЧИТАЮТ СТИХИ

Смотри: я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели.
Большие крылья снежной птицы
Мой ум метелью замели.

Как странны были речи маски!
Понятны ли тебе? — Бог весты!
Ты твердо знаешь: в книгах — сказки,
А в жизни — только проза есть.

Но для меня неразделимы
С тобою — ночь, и мгла реки,
И застывающие дымы,
И рифм веселых огоньки.

Не будь и ты со мною строгой,
И маской не дразни меня.
И в темной памяти не трогай
Иного — страшного — огня.

10 января 1907

Зачатый в ночь, я в ночь рожден
И вскрикнул я, прозрев:
Так тяжек матери был стон,
Так черен ночи зев.

Когда же сумрак поредел,
Унылый день повлек
Клубок однообразных дел,
Безрадостный клубок.

Что быть должно — то быть должно,
Так пела с детских лет
Шарманка в низкое окно,
И вот — я стал поэт.

Влюбленность расцвела в кудрях
И в ранней грусти глаз.
И был я в розовых цепях
У женщин много раз.

И всё, как быть должно, пошло:
Любовь, стихи, тоска:
Всё приняла в свое русло
Спокойная река.

Как ночь слепа, так я был слеп,
И думал жить слепой...
Но раз открыли темный склеп,
Сказали: *Бог с тобой.*

В ту ночь был белый ледеход,
Разлив осенних вод.
Я думал: — Вот река идет.
И я пошел вперед.

В ту ночь река во мгле была,
И в ночь и в темноту
Та — незнакомая — пришла
И встала на мосту.

Она была — живой костер
Из снега и вина.
Кто раз взглянул в желанный взор,
Тот знает, кто она.

И тихо за руку взяла
И глянула в лицо.
И маску белую дала
И светлое кольцо.

— Довольно жить, оставь слова,
— Я, как метель, звонка.
— Иною жизнью жива,
— Иным огнем ярка.

Она зовет. Она манит.
В снегах земля и твердь.
Что мне поет? Что мне звенит?
Иная жизнь? Глухая смерть?

12 апреля 1907

Моей матери

Я насадил мой светлый рай
И оградил высоким тыном,
И в синий воздух, в дивный край
Приходит мать за милым сыном.

— Сын, милый, где ты? — Тишина.
Над частым тыном солнце зреет,
И медленно и верно греет
Долину райского вина.

И бережно обходит мать
Мои сады, мои заветы,
И снова кличет: — Сын мой! Где ты?
Цветов старался не измять...

Всё тихо. Знает ли она,
Что сердце зреет за оградой?
Что прежней радости не надо
Вкусившим райского вина?

Апрель 1907

Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу.
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле!
Эй, встань и загорись и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!
Ты роешься, подземный крот!
Я слышу трудный, хриплый голос...
Не медли. Помни: слабый колос
Под их секирой упадет...
Как зерна, злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Ронется сумрак гробовой.
Лелей, пой, таи ту новь,
Пройдет весна — над этой новью
Вспоенная твоею кровью
Созреет новая любовь.

3 июня 1907

Тропами тайными, ночными,
При свете траурной зари,
Придут замученные ими,
Над ними встанут упыри.
Овеют призраки ночные
Их помышленья и дела,
И загниют еще живые
Их слишком сытые тела.
Их корабли в пучине водной
Не сыщут ржавых якорей,
И не успеет дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей!
Довольных сытое обличье,
Сокройся в темные гроба!
Так нам велит времен величье
И розоперстая судьба!
Гроба, наполненные гнилью,
Свободный, сбрось с могучих плеч!
Всё, всё — да станет легкой пылью
Под солнцем, не уставшим жечь!

3 июня 1907

Сырое лето. Я лежу
В постели — болен. Что-то подступает
Горячее и жгучее в груди.
А на усадьбе, в тѣнях светлой ночи
Собаки с лаем носятся вокруг дома.
И меж своих — я сам не свой. Меж
кровных
Бескровен — и не знаю чувств родства.
И люди опостытели не многим
Лишь меньше, чем убитый мной комар.
И свечкою давно озарено
То место в книжке, где профессор скучный,
Как ноющий комар, — поет мне в уши,
Что женщина у нас угнетена
И потому сходна судьбой с рабочим.
Постой-ка! Вот портрет: седой профессор
Прилизанный, умытый, тридцать пять
Изданий книги выпустивший! Стой!
Ты говоришь, что угнетен рабочий?
Постой: весной я видел смельчака,
Рабочего, который смело на смерть
Пойдет, и с ним — друзья. И горны
замолчат,

И останутся работы разом
На фабриках. И жирный фабрикант

Поклонится рабочим в ноги. — Стой!
Ты говоришь, что женщина — раба?
Я знаю женщину. В ее душе
Был сноп огня. В походке — ветер.
В глазах — два моря скорби и страстей.
И вся она была из легкой персти —
Дрожащая и гибкая. Так вот,
Профессор, четырех стихий союз
Был в ней одной. Она могла убить, —
Могла и воскресить. А ну-ка ты
Убей, да воскреси потом! Не можешь?
А женщина с рабочим могут.

20 июня 1907

ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ

О СМЕРТИ

Всё чаще я по городу брожу.
Всё чаще вижу смерть — и улыбаюсь
Улыбкой рассудительной. Ну, что же?
Так я хочу. Так свойственно мне знать,
Что и ко мне придет она в свой час.

Я проходил вдоль скачек по шоссе.
День золотой дремал на горах щебня,
А за глухим забором — ипподром
Под солнцем зеленел. Там стебли злаков
И одуванчики, раздутые весной,
В ласкающих лучах дремали. А вдали
Трибуна придавила плоской крышей
Толпу зевак и модниц. Маленькие флаги
Пестрели там и здесь. А на заборе
Прохожие сидели и глазели.

Я шел и слышал быстрый гон коней
По грунту легкому. И быстрый топот
Копыт. Потом — внезапный крик:
— Упал! Упал! — кричали на заборе,
И я, вскочив на маленький пенёк,

Увидел всё зараз: вдали летели
Жокеи в пестром — к тонкому столбу.
Чуть-чуть отстав от них, скакала лошадь
Без седока, взметая стремяна.
А за листвою кудрявеньких березок,
Так близко от меня — лежал жокей,
Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое, ласкающее небо.
Как будто век лежал, раскинув руки
И ногу подогнув. Так хорошо лежал.
К нему уже бежали люди. Издали,
Поблескивая медленными спицами, ландо
Катилось мягко. Люди подбежали
И подняли его...

И вот повисла
Беспомощная желтая нога
В обтянутой рейтузе. Завалилась
Им на плечи куда-то голова...
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цыплячью желтизну жокея. Человек
Вскочил неловко на подножку, замер,
Поддерживая голову и ногу,
И важный кучер повернул назад.
И так же медленно вертелись спицы,
Поблескивали козла, оси, крылья...

Так хорошо и вольно умереть.
Всю жизнь скакал — с одной упорной
мыслью,

Чтоб первым доскакать. И на скаку
Запнулась запыхавшаяся лошадь,
Уж силой ног не удержать седла,
И утлые взмахнулись стремяна,
И полетел, отброшенный толчком...
Ударился затылком о родную,
Весеннюю, приветливую землю,
И в этот миг — в мозгу прошли все
мысли,
Единственные нужные. Прошли —
И умерли. И умерли глаза.
И труп мечтательно глядит наверх.

Так хорошо и вольно.

Однажды брел по набережной я.
Рабочие возили с барок в тачках
Дрова, кирпич и уголь. И река
Была еще синей от белой пены.
В отстегнутые ворота рубах
Глядели загорелые тела,
И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.
И тут же дети голыми ногами
Месили груды желтого песку,
Таскали — то кирпичик, то полено,
То бревнышко. И прятались. А там
Уже сверкали грязные их пятки,
И матери — с отвислыми грудями
Под грязным платьем — ждали их,
ругались,
И, надавав затрещин, отбирали

Дрова, кирпичики, бревёшки. И тащили,
Согнувшись под тяжелой ношей, вдаль.
И снова, воротясь гурьбой веселой,
Ребятки начинали воровать:
Тот бревнышко, другой — кирпичик...

И вдруг раздался всплеск воды и крик:
— Упал! Упал! — опять кричали с барки.
Рабочий, ручку тачки отпустив,
Показывал рукой куда-то в воду,
И пестрая толпа рубах неслась
Туда, где на траве, в камнях булыжных,
На самом берегу — лежала сотка.
Один тащил багор.

А между свай,
Забитых возле набережной в воду,
Легко покачивался человек
В рубахе и в разорванных портках.
Один схватил его. Другой помог,
И длинное растянутое тело,
С которого ручьем лилась вода,
Втащили на берег и положили.
Городовой, гремя о камни шашкой,
Зачем-то щеку приложил к груди
Намокшей, и прилежно слушал,
Должно быть, сердце. Собрался народ.
И каждый вновь пришедший задавал
Одни и те же глупые вопросы:
Когда упал, да сколько пролежал
В воде, да сколько выпил?
Потом все стали тихо отходить,

И я пошел своим путем, и слушал,
Как истовый, но выпивший рабочий
Авторитетно говорил другим,
Что губит каждый день людей вино.

Пойду еще бродить. Покуда солнце,
Покуда жар, покуда голова
Тупа, и мысли вялы...

Сердце!

Ты будь вожатаем моим. И смерть
С улыбкой наблюдай. Само устанешь,
Не вынесешь такой веселой жизни,
Какую я веду. Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.

Хочу,

Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
Когда жара мешает днем мечтать
И песни петь! И слушать в мире ветер!

НАД ОЗЕРОМ

С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый, —
Влюбленные ему я песни шлю.

Оно меня не видит — и не надо.
Как женщина усталая, оно
Раскинулось внизу и смотрит в небо,
Туманится, и даль поит туманом,
И отняло у неба весь закат.
Все исполняют прихоти его:
Та лодка узкая, ласкающая гладь,
И тонкоствольный строй сосновой рощи,
И семафор на дальнем берегу,
В нем отразивший свой огонь зеленый,
Как раз на самой розовой воде.
К нему ползет трехглазая змея
Своим единственным стальным путем,
И, прежде свиста, озеро доносит
Ко мне — ее ползучий, хриплый шум.
Я на уступе. Надо мной — могила
Из темного гранита. Подо мной —
Белеющая в сумерках дорожка.
И, кто посмотрит снизу на меня,
Тот испугается: такой я неподвижный,
В широкой шляпе, средь ночных могил,
Скрестивший руки, стройный
и влюбленный в мир.

Но некому взглянуть. Внизу идут
Влюбленные друг в друга: нет им дела
До озера, которое внизу,
И до меня, который наверху.
Им нужны человеческие вздохи,
Мне нужны вздохи сосен и воды.
А озеру — красавице — ей нужно,
Чтоб я, никем не видимый, запел

Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа.

Прошли все пары. Сумерки синей,
Белей туман. И дёвичьего платья
Я вижу складки легкие внизу.
Задумчиво прошла она дорожку
И одиноко села на ступеньки
Могилы, не заметивши меня...
Я вижу легкий профиль. Пусть не знает,
Что знаю я, о чем пришла мечтать
Тоскующая девушка... Светлеют
Все окна дальних дач: там — самовары,
И синий дым сигар, и плоский смех...
Она пришла без спутников сюда...
Наверное, наверное прогонит
Затянутого в китель офицера
С вихляющим задом и ногами,
Завернутыми в трубочки штанов!
Она глядит как будто за туманы,
За озеро, за сосны, за холмы,
Куда-то так далёко, так далёко,
Куда и я не в силах заглянуть...

О, нежная! О, тонкая! — И быстро
Ей мысленно приискиваю имя:
Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!
Да, Теклой!.. — И задумчиво глядит
В клубящийся туман... Ах, как прогонит!
А офицер уж близко: белый китель,
Над ним усы и пуговица — нос,

И плоский блин, приплюснутый фуражкой...
Он подошел... он жмет ей руку!.. смотрят
Его гляделки в ясные глаза!..
Я даже выдвинулся из-за sklepa...
И вдруг... протяжно чмокает ее,
Дает ей руку и ведет на дачу!

Я хохочу! Взбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу
Среди могил — незримый и высокий...
Кричу: — Эй, Фёкла! Фёкла! — И они
Испуганы, сконфужены, не знают,
Откуда шишки, хохот и песок...
Он ускоряет шаг, не забывая
Вихлять проворно задом, и она,
Прижавшись крепко к кителю, почти
Бегом бежит за ним...

Эй, доброй ночи!

И, выбегая на крутой обрыв,
Я отражаюсь в озере... Мы видим
Друг друга: — Здравствуй! — я кричу...
И голосом красавицы — леса
Прибрежные ответствуют мне:

— Здравствуй!

Кричу: — Прощай! — Они кричат:
— Прощай!

Лишь озеро молчит, влача туманы,
Но явственно на нем отражены
И я, и все союзники мои:
Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны...

И белая задумчивая ночь
Несет меня домой. И ветер свищет
В горячее лицо. Вагон летит...
И в комнате моей белеет утро.
Оно на всем: на книгах и столах,
И на постели, и на мягком кресле,
И на письме трагической актрисы:
«Я вся усталая. Я вся больная,
«Цветы меня не радуют. Пишите...
«Простите и сожгите этот бред...»

И томные слова... И длинный почерк,
Усталый, как ее усталый шлейф...
И томностью пылающие буквы,
Как яркий камень в черных волосах.

В СЕВЕРНОМ МОРЕ

Что сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями. Потом
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной,
На мелководье. Там, переменяв
Забавные тальеры и мундиры
На легкие купальные костюмы,
И дряблость мускулов и грудей обнажив,

Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дно. Кричат,
Стараясь показать, что веселятся.

А там — закат из неба сотворил
Глубокий многоцветный кубок. Руки
Одна заря закинула к другой,
И сестры двух небес прядут один —
То розовый, то голубой туман.
И в море утопающая туча
В предсмертном гневe мечет из очей
То красные, то синие огни.

И с длинного, протянутого в море,
Подгнившего, сереющего мола,
Прочтя все надписи: «Навек с тобой»,
«Здесь были Коля с Катей», «Диодор
«Иеромонах и послушник Исидор
«Здесь были. Дивны божии дела», —
Прочтя все надписи, выходим в море
В пузатой и смешной моторной лодке.

Бензин пыхтит и пахнет. Два крыла
Бегут в воде за нами. Вьется быстрый след,
И, обогнув скучающих на пляже,
Рыбачьи лодки, узкий мыс, маяк,
Мы выбегаем многоцветной рябью
В просторную ласкающую соль.

На горизонте, за спиной, далёко
Безмолвным заревом стоит пожар.

Рыбачий «Вольный» остров распростерт
В воде, как плоская спина морского
Животного. А впереди, вдали —
Огни судов и сноп лучей бродячих
Прожектора таможенного судна.
И мы уходим в голубой туман.
Косым углом торчат над морем вежи,
Метелками фарватер оградив,
И далекó — от вежи и до вежи —
Рыбачьих шхун маячат паруса...

Над морем — штиль. Под всеми парусами
Стоит красавица — морская яхта.
На тонкой мачте — маленький фонарь,
Что камень драгоценной фероньеры,
Горит над матовым челом небес.

На острогрудой, в полной тишине,
В причудливых сплетениях снастей,
Сидят, скрестивши руки, люди в светлых
Панамах, сдвинутых на строгие черты.
А посреди, у самой мачты, молча,
Стоит матрос, весь темный, и глядит.

Мы огибаем яхту, как прилично,
И вежливо и тихо говорит.
Один из нас: — «Хотите на буксир?»
И с важной простотой нам отвечает
Суровый голос: — «Нет. Благодарю».

И, снова обогнув их, мы глядим
С молитвенной и полною душою

На тихо уходящий силуэт
Красавицы под всеми парусами...
На драгоценный камень фероньеры,
Горящий в смуглых сумерках чела.

В ДЮНАХ

Я не люблю пустого словаря
Любовных слов и жалких выражений:
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Навеки твой».
Я рабства не люблю. Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра —
«Сияющий и новый день. Приди.
«Бери меня, торжественная страсть.
«А завтра я уйду — и запою».

Моя душа проста. Солёный ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней — всё те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен — нищей красотой
Зыбучих дюн и северных морей.

Так думал я, блуждая по границе
Финляндии, вникая в темный говор
Небритых и зеленоглазых финнов.
Стояла тишина. И у платформы
Готовый поезд разводил пары.
И русская таможенная стража
Лениво отдыхала на песчаном

Обрыве, где кончалось полотно.
Там открывалась новая страна —
И русский бесприютный храм глядел
В чужую, незнакомую страну.

Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
Ее глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть
Песку. Потом — вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...

Я гнал ее далёко. Исцарапал
Лицо о хвоя, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,
И страстный голос был, как звуки рога.
Она же оставляла легкий след
В зыбучих дюнах, и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах
Еще бежит она — и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...

Лежу и думаю: «Сегодня ночь
«И завтра ночь. Я не уйду отсюда,
«Пока не затравлю ее, как зверя,
«И голосом, зовущим, как рога,
«Не прегражу ей путь. И не скажу:
«— Моя! Моя!» — И пусть она мне
крикнет:

«Твоя! Твоя!»

Июнь—июль 1907

Везде — над лесом и над пашней,
И на земле, и на воде
Такою близкой и вчерашней
Ты мне являешься — везде.

Твой стан под душной летней тучей,
Твой стан, закутанный в меха,
Всегда пою — всегда певучий,
Клубясь туманами стиха.

И через годы, через воды,
И на кресте, и во хмелю,
Тебя, Дитя моей свободы,
Подруга Светлая, люблю.

8 июля 1907

В густой траве пропадешь с головой.
В тихий дом войдешь, не стучась...
Обнимет рукой, оплетет косой
И, статная, скажет: — Здравствуй, князь.

— Вот здесь у меня — куст белых роз.
— Вот здесь вчера — повилика вилась.
— Где был, пропал? что за весть принес?
— Кто любит, не любит, кто гонит нас?

Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь — тучи вдали встают,
И слушаешь песни далеких сел...

Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой — зовет и манит...
Только скажет: — Прощай. Вернись ко мне.
И опять за травой колокольчик звенит...

12 июля 1907

В те ночи светлые, пустые,
Когда в Неву глядят мосты,
Они встречались, как чужие,
Забыв, что есть простое ты.

И каждый был красив и молод,
Но, окрыляясь пустотой,
Она таила странный холод
Под одичалой красотой.

И сердцем вечно строгим меря,
Он не умел, не мог любить.
Она любила только зверя
В нем раздражить — и укротить.

И чуждый — чуждой жал он руки,
И север сам, спеша помочь
Красивой нежности и скуке,
В день превращал живую ночь.

Так, в светлоте ночной пустыни,
В сбъятых ночи не спеша,
Гляделась в купол бледно-синий
Их обреченная душа.

10 октября 1907

СНЕЖНАЯ ДЕВА

Она пришла из дикой дали —
Ночная дочь иных времен.
Ее родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.

Но сфинкса с выщербленным ликом
Над исполинскою Невой
Она встречала легким вскриком
Под бурей ночи снеговой.

Бывало, вьюга ей осыплет
Звездами плечи, грудь и стан, —
Всё снится ей родной Египет
Сквозь тусклый северный туман.

И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла.

Ей стали нравиться громады,
Уснувшие в ночной глуши,
И в окнах тихие лампы
Слились с мечтой ее души.

Она узнала зыбь и дымы,
Огни, и мраки, и дома —
Весь город мой непостижимый —
Непостижимая сама.

Она дарит мне перстень вьюги
За то, что плащ мой полон звезд,
За то, что я в стальной кольчуге,
И на кольчуге — строгий крест.

Она глядит мне прямо в очи,
Хваля неробкого врага.
С полей ее холодной ночи
В мой дух врываются снега.

Но сердце Снежной Девы немо
И никогда не примет меч,
Чтобы ремень стального шлема
Рукою страстною рассечь.

И я, как вождь враждебной рати,
Всегда закованный в броню,
Мечту торжественных объятий
В священном трепете храню.

17 октября 1907

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом
За долгой и честной работой,
За долгим и честным трудом.

Под праздник — другим будет сладко,
Другой твои песни поет,
С другими лихая солдатка
Пойдет, подбочась, в хоровод.

Ты знай про себя, что не хуже
Другого плясал бы — вон как!
Что мог бы стянуть и потуже
Свой золотом шитый кушак!

Что ростом и станом ты вышел
Статнее и краше других,
Что та молодница повыше
Других молодниц удалых!

В ней сила играющей крови,
Хоть смуглые щеки бледны,
Тонки ее черные брови,
И строгие речи хмельны...

Ах, сладко, как сладко, так сладко
Работать, пока рассветет,
И знать, что лихая солдатка
Ушла за село, в хоровод!

26 октября 1907

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!

Там с посвистом, да с присвистом
Гуляют до зари,
Кусточки тихим шелестом
Кивают мне: смотри.

Смотрю я — руки вскинула,
В широкий пляс пошла,
Цветами всех осыпала
И в песне изошла...

Неверная, лукавая,
Коварная — пляши!
И будь навек отравою
Растраченной души!

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты — ночь, и вся ты — тьма,
И вся ты — во хмелю...

Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебе, тебе пою,
И песням нет числа!..

9 ноября 1907

КЛЕОПАТРА

Открыт паноптикум печальный
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим... В гробу царица ждет.

Она лежит в гробу стеклянном,
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова.

Она раскинулась лениво —
Навек забыть, навек уснуть...
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь...

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз,
Пришел взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ...

Тебя рассматривает каждый,
Но, если б гроб твой не был пуст
Я услышал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст:

— Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь — я воск. Я тлен. Я прах.

— Царица! Я пленен тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!

— Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
Что я и Цезарь — будем оба
В веках равны перед судьбой?

Замолк. Смотрю. Она не слышит.
Но грудь колышется едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:

— Тогда я исторгала гробы.
— Теперь исторгну жгучей всех
— У пьяного поэта — слезы,
— У пьяной проститутки — смех.

16 декабря 1907

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите всё о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту, —
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах
и началах,
Всё же я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо

Больше, чем рифмованные
и нерифмованные
Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.

6 февраля 1908

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.

Всё это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух Макбета.
Едва дойдя до *пузырей земли*,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется.
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло
и Франчески.

6 февраля 1908

Я помню длительные муки:
Ночь догорала за окном;
Ее заломленные руки
Чуть брезжили в луче дневном.

Вся жизнь, ненужно изжитая,
Пытала, унижала, жгла;
А там, как призрак возраста,
День обозначил купола;

И под окошком участились
Прохожих быстрые шаги;
И в серых лужах расходились
Под каплями дождя круги;

И утро длилось, длилось, длилось...
И праздный тяготил вопрос;
И ничего не разрешилось
Весенним ливнем бурных слез.

4 марта 1908

Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету.
И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну,
И стало дивно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту.

Свирель поет: взошла звезда,
Пастух, гони стада...
И под мостом поет вода:
Смотри, какие быстрины,
Оставь заботы навсегда,
Такой прозрачной глубины
Не видел никогда...
Такой глубокой тишины
Не слышал никогда...

Смотри, какие быстрины,
Когда ты видел эти сны?..

22 мая 1908

Всё помнит о весле вздыхающем
Мое блаженное плечо...
Под этим взором убегающим
Не мог я вспомнить ни о чем...

Твои движения несмелые,
Неверный поворот руля...
И уходящий в ночи белые
Неверный призрак корабля...

И в ясном море утопающий
Печальный стан рыбацких шхун...
И в золоте восходном тающий
Бесцельный путь, бесцельный выюн...

28 мая 1908

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди! —
Пробудись! Пронзи меня мечами,
От страстей моих освободи!

Хорошо в лугу широким кругом
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти, —
Но достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру итти!

28 мая 1908

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

1

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь —
в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Легит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

7 июня 1908

2

Мы, сам друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат...

На пути — горячий белый камень.
За рекой — поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взиграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: — Остри свой меч,
— Чтoб недаром биться с татарвою,
— За святое дело мертвым лечь!

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

8 июня 1908

3

В ночь, когда Мамай залег с ордою
Степи и мосты,
В темном поле были мы с Тобою, —
Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.

С полуночи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.

Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.

232

И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече.
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.

И когда на утро, тучей черной,
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

14 июня 1908

4

Опять с вековой тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали...

Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.

И я с вековой тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!

233

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар.
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне...
Встречаются вольные тучи
Во мгlistой ночной вышине

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...

— Явись, мое дивное диво!
— Быть светлым меня научи!
Вздымается конская грива...
За ветром взывают мечи...

31 июля 1908

б

И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволкло.

Вл. Соловьев

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволкло.

234

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молнии боевой.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьем станом, как бывало,
И плеск, и трупы лебедей.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!

23 декабря 1908

ДРУЗЬЯМ

Молчите, проклятые струны!

А. Майков

Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить и работать,
Не зная извечной вражды!

Что делать! Ведь каждый старался
Свой собственный дом отравить,
Все стены пропитаны ядом,
И негде главы преклонить!

Что делать! Изверившись в счастье,
От смеху мы сходим с ума,
И, пьяные, с улицы смотрим,
Как рушатся наши дома!

Предатели в жизни и дружбе,
Пустых расточители слов,
Что делать! Мы путь расчищаем
Для наших далеких сынов!

Когда под забором в крапиве
Несчастные кости сгниют,
Какой-нибудь поздний историк
Напишет внушительный труд...

Вот только замучит, проклятый,
Ни в чем не повинных ребят
Годами рожденья и смерти
И ворохом скверных цитат...

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достойным доцента,
И критиков новых плодить...

Зарыться бы в свежем бурьяне,
Забиться бы сном навсегда!
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

24 июля 1908

ПОЭТЫ

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом:
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.

Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.

Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.
И золотом каждой прохожей косы
Пленились со знанием дела.

Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...

Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?

Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно всё это!..

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом занес,
То выюга меня целовала!

24 июля 1908

Она, как прежде, захотела
Вдохнуть дыхание свое
В мое измученное тело,
В мое холодное жилье.

Как небо, встала надо мною,
А я не мог навстречу ей
Пошевелить больной рукою,
Сказать, что тосковал о ней...

Смотрел я тусклыми глазами,
Как надо мной она грустит,
И больше не было меж нами
Ни слов, ни счастья, ни обид...

Земное сердце уставало
Так много лет, так много дней...
Земное счастье запоздало
На тройке бешеной своей!

Я, наконец, смертельно болен,
Дышу иным, иным томлюсь,
Закатом солнечным доволен
И вечной ночи не боюсь...

Мне вечность заглянула в очи,
Покой на сердце низвела,
Прохладной влагой синей ночи
Костер волненья залила...

30 июля 1908

Когда замрут отчаянье и злоба,
Нисходит сон. И крепко спим мы оба
На разных полюсах земли.

Ты обо мне, быть может, гредишь в эти
Часы. Идут часы походкою столетий,
И сны встают в земной дали.

И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,
Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:

Всё та же ты, какой цвела когда-то,
Там, над горой туманной и зубчатой,
В лучах немеркнувшей зари.

1 августа 1908

Твое лицо мне так знакомо,
Как будто ты жила со мной.
В гостях, на улице и дома
Я вижу тонкий профиль твой.
Твои шаги звенят за мною,
Куда я ни войду, ты там.
Не ты ли легкою стопою
За мною ходишь по ночам?
Не ты ль проскальзываешь мимо,
Едва лишь в двери загляну,
Полувоздушна и незрима,
Подобна виденному сну?
Я часто думаю, не ты ли
Среди погоста, за гумном,
Сидела, молча, на могиле
В платочке ситцевом своем?
Я приближался — ты сидела,
Я подошел — ты отошла,
Спустилась к речке и запела...
На голос твой колокола
Откликнулись вечерним звоном...
И плакал я, и робко ждал...
Но за вечерним перезвоном
Твой милый голос затихал...

Еще мгновенье — нет ответа,
Платок мелькает за рекой...
Но знаю горестно, что где-то
Еще увидимся с тобой.

1 августа 1908

РОССИЯ

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колени...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

18 октября 1908

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне всё — равно.
Вон счастье мое — на тройке
В серебристый дым унесено...

Летит на тройке, потонуло
В снегу времен, в дали веков...
И только душу захлестнуло
Серебристой мглой из-под подков...

В глухую темень искры мечет,
От искр всю ночь, всю ночь светло...
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастье прошло...

И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...
А ты, душа... душа глухая...
Пьяным пьяна... пьяным пьяна...

26 октября 1908

Своими горькими слезами
Над нами плакала весна.
Огонь мерцал за камышами,
Дразня лихого скакуна...

Опять звала бесчеловечным,
Ты, отданная мне давно!..
Но ветром буйным, ветром встречным
Твое лицо опалено...

Опять — бессильно и напрасно —
Ты отстранялась от огня...
Но даже небо было страстно,
И небо было за меня!..

И стало всё равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

И всё равно, чей вздох, чей шопот, —
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты...

Так — сведены с ума мгновеньем —
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!

Теперь, когда мне звезды ближе,
Чем та неистовая ночь,
Когда еще безмерно ниже
Ты пала, униженья дочь,

Когда один с самим собою
Я проклиная каждый день, —
Теперь проходит предо мною
Твоя *развенчанная* тень...

С благоволеньем? Иль с укором?
Иль ненавизя, мстя, скорбяз?
Иль хочешь быть мне приговором? —
Не знаю: я забыл тебя.

20 ноября 1908

Всё б тебе желать веселья,
Сердце, золото мое!
От похмелья до похмелья,
От приволья вновь к приволью —
Беспечальное житье!

Но низка земная келья,
Бледно золото твое!
В час разгульного веселья
Вдруг намашет страстной болью,
Черным крыльем воронье!

Всё размучен я тобою,
Подколотная змея!
Синечерною косою
Мила друга оплетая,
Ты моя и не моя!

Ты со мной и не со мною —
Рвешься в дальние края!
Оплетешь меня косою
И услышишь, замирая,
Мертвый окрик воронья!

7 декабря 1908

Опустись, занавеска линиялая,
На больные герани мои.
Сгинь, цыганская жизнь небывалаая,
Погаси, сомкни очи твои!

Ты ли, жизнь, мою горницу скудную
Убирала степным ковылем!
Ты ли, жизнь, мою сонь непробудную
Зеленым отравляла вином!

Как цыганка, платками узорными
Расстилалась ты предо мной,
Ой-ли косами иссиня-черными,
Ой-ли бурей страстей огневой!

Что рыдалось мне в шопоте, в забытьи,
Неземные ль какие слова?
Сам не свой только был я, без памяти,
И ходила кругом голова...

Спалена́ моя степь, трава свáлена,
Ни огня, ни звезды, ни пути...
И кого целовал — не моя вина,
Ты, кому обещался, — прости...

30 декабря 1908

Не затем величал я себя паладином,
Не затем ведь и ты приходила ко мне,
Чтобы только рыдать над потухшим
каминном,
Чтобы только плясать при умершем огне!

Или счастье вправду неверно и быстро?
Или вправду я слаб уже, болен и стар?
Нет! В золе еще бродят последние искры,
Есть огонь, чтобы вспыхнул пожар!

30 декабря 1908

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.

Осенний день высок и тих,
Лишь слышно — ворон глухо
Зовет товарищей своих,
Да кашляет старуха.

Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
Мы взором пристальным следим
За летом журавлиным...

Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет...
О чем звенит, о чем, о чем?
Что плач осенний значит?

И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

1 января 1909

Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я уйду, душою праздный,
В метель, во мрак и в пустоту.

Я обрываю нить сознанья
И забываю, что и как...
Кругом — снега, трамваи, зданья,
А впереди — огни и мрак.

Что, если я, замороженный,
Сознанья оборвавший нить,
Вернусь домой уничиженный, —
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?

2 февраля 1909

Так. Буря этих лет прошла.
Мужик поплелся бороздою
Сырой и черной. Надо мною
Опять звенят весны крыла...

И страшно, и легко, и больно:
Опять весна мне шепчет: *встань...*
И я целую богомольно
Ее невидимую ткань...

И сердце бьется слишком скоро,
И слишком молодеет кровь,
Когда за тучкой легкоперой
Сквозит мне первая любовь...

*Забудь, забудь о страшном мире,
Взмахни крылом, лети туда...*
Нет, не один я был на пире!
Нет, не забуду никогда!

14 февраля 1909

В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?

Что лето, шелестят во мраке,
То выпрямляясь, то клонясь
Всю ночь под тайным ветром, злакн:
Пора цветенья началась.

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.

15 февраля 1909

Когда, вступая в мир огромный,
Единства тщетно ищешь ты;
Когда ты смотришь в угол темный
И смерти ждешь из темноты;

Когда ты злобен, или болен,
Тоской иль страстию палим,
Поверь: тогда еще ты волен
Гордиться счастьем своим!

Когда ж ни скукой, ни любовью,
Ни страхом уж не дышишь ты,
Когда запятнаны мечты
Не юной и не быстрой крозью, —

Тогда — ограблен ты и наг:
Смерть не возможна без томленья,
А жизнь, не зная истребленья,
Так — только замедляет шаг.

Март 1909

Весенний день прошел без дела
У неумытого окна;
Скучала за стеной и пела,
Как птица пленная, жена.

Я, не спеша, собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела;
И стало беспощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла.

Еще вернутся мысли, споры,
Но будет скучно и темно;
К чему спускать на окнах шторы?
День догорел в душе давно.

Март 1909

Не спят, не помнят, не торгуют.
Над черным городом, как стон,
Стоит, терзая ночь глухую,
Торжественный пасхальный звон.

Над человеческим созданием,
Которое он в землю вбил,
Над смрадом, смертью и страданием
Трезвонят до потери сил...

Над мировую чепухую;
Над всем, чему нельзя помочь;
Звонят над шубкой меховую,
В которой ты была в ту ночь.

30 марта 1909

ИЗ «ИТАЛЬЯНСКИХ СТИХОВ»

РАВЕННА

Всё, что минутно, всё, что бrenно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожег.

Военной брани и обиды
Забит и стерт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
Не пел страстей протекших лет.

Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди — всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равенских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склоняясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.

Май—июнь 1909

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

С детских лет — видения и грезы,
Умбрии ласкающая мгла.
На оградах вспыхивают розы,
Тонкие поют колокола.

Слишком резвы милые подруги,
Слишком дерзок их открытый взор.
Лишь она одна в предвечном круге
Ткет и ткет свой шелковый узор.

Робкие томят ее надежды,
Грезятся несбыточные сны.
И внезапно — красные одежды
Дрогнули на золоте стены.

Всем лицом склонилась над шелками,
Но везде — сквозь золото ресниц —
Вихрь ли с многоцветными крылами,
Или ангел, распростертый ниц...

Темноликий ангел с дерзкой ветвью
Молвит: Здравствуй! Ты полна красы!
И она дрожит пред страстной вестью,
С плеч упали тяжких две косы...

Он поет и шепчет — ближе, ближе,
Уж над ней — шумящих крыл шатер...
И она без сил склоняет ниже
Потемневший, помутневший взор...

Трепеща, не верит: «Я ли, я ли?»
И рукою закрывает грудь...
Но чернеют пламенные дали —
Не уйти, не встать и не вздохнуть...

И тогда — незнаемую болью
Озарился светлый круг лица...
А над ними — символ своеволья —
Перуджийский гриф когтит тельца.

Лишь художник, занавесью скрытый, —
Он провидит страстной муки крест
И твердит: — Profani, procul ite,
Nis amoris locus sacer est.¹

Май—июнь 1909

ДЕВУШКА ИЗ SPOLETO

Строен твой стан, как церковные свечи.
Взор твой — мечами пронзающий взор.
Дева, не жду ослепительной встречи —
Дай, как монаху, взойти на костер!

Счастья не требую. Ласки не надо.
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду,
Где ты срываешь цветы, — и люблю!

Мимо, всё мимо — ты ветром гонима —
Солнцем палима — Мария! Позволь
Взору — прозреть над тобой херувима,
Сердцу — изведать сладчайшую боль!

¹ Идите прочь, непосвященные: здесь свято место любви. — *Ред.*

Тихо я в темные кудри вплетаю
Тайных стихов драгоценный алмаз.
Жадно влюбленное сердце бросаю
В темный источник сияющих глаз.

3 июня 1909

ВЕНЕЦИЯ

1

С ней уходил я в море,
С ней покидал я берег,
С нею я был далёко,
С нею забыл я близких...

О, красный парус
В зеленой дали!
Черный стеклярус
На темной шали!

Идет от сумрачной обедни,
Нет в сердце крѳви...
Христос, уставший крест нести...

Адриатической любви —
Моей последней —
Прости, прости!

9 мая 1909

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь — больной и юный —
Простерт у львиного столба.

На башне, с песнию чугуновой,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.

Всё спит — дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользкий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак.

Август 1909

Слабеет жизни гул упорный.
Уходит вспять прилив забот.
И некий ветер сквозь бархат черный
О жизни будущей поет.

Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?
И памятью об этой жизни
Вздыхну ль когда-нибудь во сне?

Кто даст мне жизнь? Потомок дожа,
Купец, рыбак, иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей?

Быть может, венецейской девы
Кандоной нежной слух плена,
Отец грядущий сквозь напевы
Уже предчувствует меня?

И неужель в грядущем веке
Младенцу мне — велит судьба
Впервые дрогнувшие веки
Открыть у львиного столба?

Мать, что поют глухие струны?
Уж ты мечтаешь, может быть,
Меня от ветра, от лагуны
Священной шалью оградить?

Нет! Всё, что есть, что было, — живо!
Мечты, виденья, думы — прочь!
Волна возвратного прилива
Бросает в бархатную ночь!

26 августа 1909

ПЕРУДЖИЯ

День полувеселый, полустрадный,
Голубая гарь от Умбрских гор.
Вдруг—минутный ливень, ветер прохладный,
За окном открытым — промкий хор.

Там — в окне, под фреской Перуджино,
Черный глаз смеется, дышит грудь:
Кто-то смуглою рукой корзину
Хочет и не смеет дотянуть...

На корзине — белая записка:
„Questa sera¹... монастырь Франциска...»

Июнь 1909

Флоренция, ты ирис нежный;
По ком томился я один
Любовью длинной, безнадежной,
Весь день в пыли твоих Кашин?

О, сладко вспомнить безнадежность:
Мечтать и жить в твоей глуши;
Уйти в твой древний зной и в нежность
Своей стареющей души...

¹ Нынче вечером. — *Ред.*

Но суждено нам разлучиться,
И через дальние края
Твой дымный ирис будет сниться,
Как юность ранняя моя.

Июнь 1909

Окна ложные на небе черном,
И прожектор на древнем дворце.
Вот проходит она — вся в узорном
И с улыбкой на смуглом лице.

А вино уж мутит мои взоры
И по жилам огнем разлилось...
Что мне спеть в этот вечер, синьора?
Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось?

Июнь 1909

MADONNA DA SETTIGNANO

Встретив на горном тебя перевале,
Мой прояснившийся взор
Понял тосканские дымные дали
И очертания гор.

Желтый платок твой разубран цветами —
Сонный то маковый цвет.
Смотришь большими, как небо, глазами
Бедному страннику вслед.

Дашь ли запреты забыть вековые
Вечному путнику — мне?
Страстно твердить твое имя, Мария,
Здесь, на чужой стороне?

3 июня 1909

ФЬЕЗОЛЕ

Стучит топор, и с кампанил
К нам флорентийский звон долинный
Плывет, доплыл и разбудил
Сон золотистый и старинный...

Не так же ли стучал топор
В нагорном Фьезоле когда-то,
Когда впервые взор Беато
Флоренцию приметил с гор?

Июнь 1909

Искусство — ноша на плечах,
Зато, как мы, поэты, ценим
Жизнь в мимолетных мелочах!
Как сладостно предаться лени,
Почувствовать, как в жилах кровь
Переливается певуче,
Бросающую в жар любовь
Поймать за тучкою летучей,
И грезить, будто жизнь сама
Встает во всем шампанском блеске,
В мурлыкающем нежно треске
Мигающего снѣма!¹
А через год — в чужой стране:
Усталость, город неизвестный,
Толпа, — и вновь на полотне
Черты француженки прелестной!..

Июнь 1909

¹ Снѣма — кинематограф. — Ред.

ЧЕРЕЗ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

1

Всё та же озерная гладь,
Всё так же каплет соль с градирен.
Теперь, когда ты стар и мирен,
О чем волнуешься опять?

Иль первой страсти юный гений
Еще с душой не разлучен,
И ты навеки обручен
Той давней, незабвенной тени?

Ты позови — она придет:
Мелькнет, как прежде, профиль важный,
И голос, вкрадчиво-протяжный,
Слова бывалые шепнет.

Июнь 1909

2

В темном парке под ольхой
В час полуночи глухой

Белый лебедь от весла
Спрятал голову в крыла.

274

Весь я — память, весь я — слух,
Ты со мной, печальный дух,

Знаю, вижу — вот твой след,
Смытый бурей столько лет.

В теньях траурной ольхи
Сладко дышат мне духи,

В листьях матовых шурша,
Шелестит еще душа,

Но за бурей страстных лет —
Всё, как призрак, всё, как бред,

Всё, что было, всё прошло,
В прудовой туман ушло.

Июнь 1909

3

Когда мучительно восстали
Передо мной дела и дни,
И сном глубоким от печали
Забылся я в лесной тени, —

Не знал я, что в лесу девичьем
Проходит память прежних дней,
И, пробудясь в игре теней,
Услышал ясно в пеньи птичьим:

*

275

— Внимай страстям, и верь, и верь,
— Зови их всеми голосами,
— Стучись полночными часами
— В блаженства замкнутую дверь!

Июнь 1909

4

Синеокая, бог тебя создал такой.
Гений первой любви надо мной,

Встал он тихий, дождями омытый,
Запеваёт осой ядовитой,

Разметаёт он прошлого след,
Ему легкого имени нет,

Вижу снова я тонкие руки,
Снова слышу гортанные звуки.

И в глубокую глаз синеву
Погружаюсь опять наяву.

1897—1909

5

Бывают тихие минуты:
Узор морозный на стекле;
Мечта невольно льнет к чему-то,
Скучая в комнатном тепле...

276

И вдруг — туман сырого сада,
Железный мост через ручей,
Вся в розах серая ограда,
И синий, синий плен очей...

О чем-то шепчущие струи,
Кружащаяся голова...
Твой, хохлушка, поцелуй,
Твой гортанные слова...

Июнь 1909

6

В тихий вечер мы встречались
(Сердце помнит эти сны).
Деревя едва венчались
Первой зеленью весны.

Ясным заревом алея,
Уводила вдоль пруда
Эта узкая аллея
В сны и тени навсегда.

Эта юность, эта нежность —
Что для нас она была?
Всех стихов моих мятежность
Не она ли создала?

Сердце занято мечтами,
Сердце помнит долгий срок,
Поздний вечер над прудами,
Раздушенный ваш платок.

23 марта 1910

277

Уже померкла ясность взора,
И скрипка под смычок легла,
И злая воля дирижера
По арфам ветер пронесла...

Твой очерк страстный, очерк дымный
Сквозь сумрак ложи плыл ко мне.
И тенор пел на сцене гимны
Безумным скрипкам и весне...

Когда внезапно вздох недальний,
Домчавшись, кровь оледенил,
И кто-то бедный и печальный
Мне к сердцу руку прислонил...

Когда в гаданьи, еле зримый,
Встал предо мной, как редкий дым,
Тот призрак, тот непобедимый...
И арфы спели: улетим.

Март 1910

Всё, что память сберечь мне старается,
Пропадает в безумных годах,
Но горящим зигзагом взвивается
Эта повесть в ночных небесах.

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,

Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь.

И когда в тишине моей горницы
Под лампадой томлюсь от обид,
Синий призрак умершей любовницы
Над кадилом мечтаний сквозит.

23 марта 1910

УТРО В МОСКВЕ

Упоительно встать в ранний час,
Легкий след на песке увидеть.
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.

Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро, как прелесть твоя.

Июль 1909

Всё это было, было, было,
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?

Иль в ночь на Пасху, над Невою,
Под ветром, в стужу, в ледоход —
Старуха нищая клюкою
Мой труп спокойный шевельнет?

Иль на возлюбленной поляне
Под шелест осени седой
Мне тело в дождевом тумане
Расклябует коршун молодой?

Иль просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях?

И в новой жизни, непохожей,
Забуду прежнюю мечту,
И буду так же помнить дождей,
Как нынче помню Калиту?

Но верю — не пройдет бесследно
Всё, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл!

Август 1909

Как прощались, страстно клялись
В верности любви...
Вместе тайн приобщались,
Пели соловьи...

Взял гитару на прощанье
И у струн исторг
Все признанья, обещанья,
Всей души восторг...

Да тоска заполонила,
Порвалась струна...
Не звала б, да не манила
Дальняя сторона!

Вспоминай же, ради бога,
Вспоминай меня,
Как седой туман из лога
Встанет до плетня...

5 сентября 1909

Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, чей-то странный...
(В кабинете ресторана
За бутылкою вина).

Визг цыганского напева
Налетел из дальних зал,
Дальних скрипок вопль туманный...
Входит ветер, входит дева
В глубь исчерченных зеркал.

Взор во взор — и жгуче-синий
Обозначился простор.
Магдалина! Магдалина!
Веет ветер из пустыни,
Раздувающий костер.

Узкий твой бокал и выюга
За глухим стеклом окна —
Жизни только половина!
Но за выюгой — солнцем юга
Опаленная страна!

Разрешенье всех мучений,
Всех хулений и похвал,
Всех змеящихся улыбок,
Всех просительных движений, —
Жизнь разбей, как мой бокал!

Чтоб на ложе долгой ночи
Не хватило страстных сил!
Чтоб в пустынном вопле скрипок
Перепуганные очи
Смертный сумрак погасил.

6 октября 1909

ДВОЙНИК

Однажды в октябрьском тумане
Я брел, вспоминая напев.
(О, миг непроданных лобзаний!
О, ласки некупленных дев!)
И вот, в непроглядном тумане
Возник позабытый напев.

И стала мне молодость сниться,
И ты, как живая, и ты...
И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя, темноты...
(Так ранняя молодость снится.
А ты-то, вернешься ли ты?)

Вдруг вижу, — из ночи туманной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снился ли мне он во сне?),
Выходит из ночи туманной
И прямо подходит ко мне.

И шепчет: «Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,
В чужих зеркалах отражаться,

И женщин чужих целовать...»
И стало мне странным казаться,
Что я его встречу опять...

Вдруг — он улыбнулся нахально, —
И нет близ меня никого...
Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его...
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

Октябрь 1909

Поздней осенью из гавани
От заметенной снегом земли
В предназначенное плавание
Идут тяжелые корабли.

В черном небе означается
Над водой подъемный кран,
И один фонарь качается
На оснеженном берегу.

И матрос, на борт не принятый,
Идет, шатаясь, сквозь буран.
Всё потеряно, всё выпито!
Довольно — больше не могу...

А берег опустелой гавани
Уж первый легкий снег занес...
В самом чистом, в самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?

14 ноября 1909

НА ОСТРОВАХ

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный.
И хруст песка и храп коня.

Две тени, слитых в поделуе,
Летят у полости саней.
Но не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой — с пленной — с ней.

Да, есть печальная услуга
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить,
И мчаться в снег и темноту,

И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...

Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать...
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не станет ревновать...

Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Всё только — продолженье бала,
Из света в сумрак переход...

22 ноября 1909

СУСАЛЬНЫЙ АНГЕЛ

На разукрашенную елку
И на играющих детей
Сусальный ангел смотрит в щелку
Закрытых наглухо дверей.

А няня топит печку в детской,
Огонь трещит, горит светло...
Но ангел тает. Он — немецкий.
Ему не больно и тепло.

Сначала тают крылья крошки,
Головка падает назад,
Сломались сахарные ножки
И в сладкой лужице лежат...

Потом и лужица засохла.
Хозяйка ищет — нет его...
А няня старая оглохла,
Ворчит, не помнит ничего...

Ломайтесь, тайте и умрите,
Созданья хрупкие мечты,
Под ярким пламенем событий,
Под гул житейской суеты!

Так! Погибайте! Что в вас толку?
Пускай лишь раз, былым дыша,
О вас поплачет втихомолку
Шалунья девочка — душа...

25 ноября 1909

ГОЛОСА СКРИПОК

Из длинных трав встает луна
Щитом краснеющим героя,
И буйной музыки волна
Плеснула в море заревое.

Зачем же в ясный час торжеств
Ты злишься, мой смычок визгливый,
Врываясь в мировой оркестр
Отдельной песней торопливой?

Учись вниманью длинных трав,
Разлейся в море зорь беспцельных,
Протяжный голос свой послав
В отчизну скрипок запредельных.

Февраль 1910

НА СМЕРТЬ КОММИССАРЖЕВСКОЙ

Пришла порою полуночной
На крайний полюс, в мертвый край.
Не верили. Не ждали. Точно
Не таял снег, не вела май.

Не верили. А голос юный
Нам пел и плакал о весне,
Как будто ветер тронул струны
Там, в незнакомой вышине,

Как будто отступили зимы,
И буря твердь разорвала,
И струнно плачут серафимы,
Над миром расплескав крыла...

Но было тихо в нашем склепе,
И полюс — в хладном серебре.
Ушла. От всех великолепий —
Вот только: крылья на заре.

Что в ней рыдало? Что боролось?
Чего она ждала от нас?
Не знаем. Умер вешний голос,
Погасли звезды синих глаз.

Да, слепы люди, низки тучи...
И где нам ведать торжества?
Залег здесь камень бел-горючий,
Растет у ног плакун-трава...

Так спи, измученная славой,
Любовью, жизнью, клеветой...
Теперь ты с нею — с величавой,
С несбыточной твоей мечтой.

А мы — что мы на этой тризне?
Что можем знать, чему помочь?
Пускай хоть смерть понятней жизни,
Хоть погребальный факел — в ночь...

Пускай хоть в небе — Вера с нами.
Смотри сквозь тучи: там она —
Развернутое ветром знамя,
Обетованная весна.

Февраль 1910

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам
маяться?

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог, да столбов верстовых...

Лодки, да грады по рекам рубила ты,
Но до Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты —
Кинулась из степи черная мгла...

За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

28 февраля 1910

Черный ворон в сумраке снежном,
Черный бархат на смуглых плечах.
Томный голос пением нежным
Мне поет о южных ночах.

В легком сердце — страсть
и беспечность,
Словно с моря мне подан знак.
Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.

Снежный ветер, твое дыханье,
Опьяненные губы мои...
Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои соловьи...

Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нем — твоих поделуев бред,
Темный морок цыганских песен,
Торопливый полет комет!

Февраль 1910

В РЕСТОРАНЕ

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, Ан.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратись к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: — И этот влюблен.

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Иступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: — Лови!..
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

19 апреля 1910

ДЕМОН

Прижмись ко мне крепче и ближе,
Не жил я — блуждал средь чужих...
О, сон мой! Я новое вижу
В бреду поцелуев твоих!

В томленьи твоём исступленном
Тоска небывалой весны
Горит мне лучом отдаленным
И тянется песней зурны.

На дымно-лиловые горы
Принес я на луч и на звук
Усталые губы и взоры
И плети изломанных рук.

И в горном закатном пожаре,
В разливах синеющих крыл,
С тобою, с мечтой о Тамаре,
Я, горний, навеки без сил...

И снится — в далеком ауле,
У склона бессмертной горы,
Тоскливо к нам в небо плеснули
Ненужные складки чадры...

Там стелется в пляске и плачет,
Пыль вьется и стонет зурна...
Пусть скачет жених — не доскачет!
Чеченская пуля верна.

19 апреля 1910

Там человек сгорел.

Фет

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще нежившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре
чувства,

Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!

10 мая 1910

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчалю.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая... .

Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинута
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — всё больно.

14 июня 1910

Когда-то гордый и надменный,
Теперь с цыганкой я в раю,
И вот — прошу ее смиренно:
«Спляши, цыганка, жизнь мою».

И долго длится пляс ужасный,
И жизнь проходит предо мной
Безумной, сонной и прекрасной
И отвратительной мечтой...

То кружится, закинув руки,
То поползет змеей, — и вдруг
Вся замерла в истоме скуки,
И бубен падает из рук...

О, как я был богат когда-то,
Да всё — не стоит пятака:
Вражда, любовь, молва и злато,
А пуща — смертная тоска.

11 июля 1910

ПОСЕЩЕНИЕ

Голос

То не ели, не тонкие ели
На закате поднимают кресты,
То в дали снеговой заалели
Мои нежные, милый, персты.
Унесенная белой метелью
В глубину, в бездыханность мою, —
Вот я вновь над твоею постелью
Наклонилась, дышу, узнаю...
Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,
Я сквозь темные ночи — в венце.
Вот они — еще синие очи
На моем постаревшем лице!
В твоем голосе — возгласы моря,
На лице твоём — жала огня,
Но читаю в испуганном взоре,
Что ты помнишь и любишь меня.

Второй голос

Старый дом мой пронизан метелью,
И остыл одинокий очаг.
Я привык, чтоб над этой постелью
Наклонялся лишь пристальный враг.
И душа для видений ослепла,

Если вспомню, — лишь ветер налетит,
Лишь рубин раскаленный из пепла
Мой обугленный лик опалит!
Я не смею взглянуть в твои очи,
Всё, что было, — далёко оно.
Долгих лет нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно.

Сентябрь 1910

Там неба осветленный край
Средь дымных пятен.
Там разговор гусиных стай
Так внятен.

Свободен, весел и силён,
В дали любимой
Я слышу непомерный звон
Неуследимый.

Там осень сумрачным пером
Широко реет,
Там старый лес под топором
Редет.

Сентябрь 1910

Знаю я твоё льстивое имя,
Чёрный бархат и губы в огне,
Но стоит за плечами твоими
Иногда неизвестное мне.

И ложится упорная гневность
У меня меж бровей на челе:
Она жжет меня, чёрная ревность
По твоей незнакомой земле.

И готовый на новые муки,
Вспоминаю те вьюги, снега,
Твои дикие слабые руки,
Бормотаний твоих жемчуга.

18 ноября 1910

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба,
Что встретиться судил нам бог
В час искупительный — у гроба.

Я верю: новый век взойдет
Средь всех несчастных поколений.
Недаром славит каждый род
Смертельно оскорбленный гений.

И все, как он, оскорблены
В своих сердцах, в своих певучих.
И всем — священный меч войны
Сверкает в неизбежных тучах.

Пусть день далек — у нас всё те ж
Заветы юношам и девам:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева — есть мятеж.

Разигрывайте жизнь, как фант.
Сердца поэтов чутко внемлют,
В их беспокойстве — воли дремлют;
Так точно — черный бриллиант

Спит сном неведомым и странным,
В очарованьи бездыханном,
Среди глубоких недр, — пока
В горах не запоет кирка.

1910

О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличили вас!
Но мы — всё те же. Мы, поэты,
За вас, о вас тоскуем вновь,
Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты...
И так же прост наш тихий храм,
Мы на стенах читаем сроки...
Так смейтесь, и не верьте нам,
И не читайте наши строки
О том, что под землей струи
Поют, о том, что бродят светлы...

Но помни Тютчева заветы:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Январь 1911

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже, —
Оттуда зримей мир иной...
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...
Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри
И, как пугливый крот, от света
Заройся в землю — там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: нет!

Осень 1911

Земное сердце стынет вновь,
Но службу я встречаю грудью.
Храню я к людям на безлюдьи
Неразделенную любовь.

Но за любовью — зреет гнев,
Растет презренье и желанье
Читать в глазах мужей и дев
Печать забвенья, иль избранья.

Пускай зовут: *Забудь, поэт!*
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!
Уюта — нет. Покоя — нет.

1911

УНИЖЕНИЕ

В черных сучьях дерев обнаженных
Желтый зимний закат за окном.
(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком).

Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер...
В этой комнате, в звоне стаканов,
Купчик, шулер, студент, офицер...

Этих голых рисунков журнала
Не людская касалась рука...
И рука *подлеца* нажимала
Эту грязную кнопку звонка...

Чу! По мягким коврам прозвенели
Шпоры, смех, заглушенный дверьми...
Разве дом этот — дом в самом деле?
Разве так осуждено меж людьми?

Разве рад я сегодняшней встрече?
Что ты ликом бела, словно плат?
Что в твои обнаженные плечи
Бьет огромный холодный закат?

Только губы с запекшейся кровью
На иконе твоей золотой
(Разве это мы звали любовью?)
Преломились безумной чертой...

В желтом, зимнем, огромном закате
Утонула (так пышно!) кровать...
Еще тесно дышать от объятий,
Но ты свищешь опять и опять...

Он невесел — твой свист замогильный...
Чу! опять — бормотание шпор...
Словно змей, тяжкий, сытый и пыльный,
Шлейф твой с кресел ползет на ковер...

Ты смела! Так еще будь бесстрашней!
Я — не муж, не жених твой, не друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук!

Декабрь 1911

АВИАТОР

Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.

Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет...

Уж в вышине недостижимой
Сняет двигателя медь...
Там, еле слышный и незримый,
Пропеллер продолжает петь...

Потом — напрасно ищет око:
На небе не найдешь следа:
В бинокле, вскинutom выско,
Лишь воздух — ясный, как вода...

А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,

Ангары, люди, всё земное —
Как бы придавлено к земле...

Но снова в золотом тумане
Как будто неземной аккорд...
Он близок, миг рукоплесканий
И жалкий мировой рекорд!

Всё ниже спуск винтообразный,
Всё круче лопастей извив,
И вдруг... нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв...

И зверь с умолкшими винтами
Повис пугающим углом...
Ищи ответшими глазами
Опоры в воздухе... пустом!

Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины
Рука — мертвее рычага...

Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?

Или восторг самозабвенья
Губительный изведал ты,
Безумно возалкал паденья
И сам остановил винты?

Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?

Январь 1912

Шар раскаленный, золотой
Пошлет в пространство луч огромный,
И длинный конус тени темной
В пространство бросит шар другой

Таков наш безначальный мир.
Сей конус — наша ночь земная.
За ней — опять, опять эфир
Планета плавит золотая...

И мне страшны, любовь моя,
Твои сияющие очи:
Ужасней дня, страшнее ночи
Сияние небытия.

5 января 1912

Благословляю всё, что было,
Я лучшей доли не искал.
О, сердце, сколько ты любило!
О, разум, сколько ты пылал!

Пускай и счастье и муки
Свой горький положили след,
Но в страстной буре, в долгой скуке —
Я не утратил прежний свет.

И ты, кого терзал я новым,
Прости меня. Нам быть — вдвоем.
Всё то, чего не скажешь словом,
Узнал я в облике твоём.

Глядят внимательные очи,
И сердце бьет, волнуясь, в грудь,
В холодном мраке снежной ночи
Свой верный продолжая путь.

15 января 1912

ШАГИ КОМАНДОРА

Тяжкий плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон Жуан?

Холодно и пусто в пышной спальне,
Слуги спят, и ночь глуха.
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.

Что изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны...

Чьи черты жестокие застыли,
В зеркалах отражены?
Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?
Сладко ль видеть неземные сны?

Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ — победно и влюбленно —
В снежной мгле поет рожок...

Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор.
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор...

Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов —
Бой часов: — Ты звал меня на ужин.
— Я пришел. А ты готов?..

На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа — тишина.
В пышной спальне страшно в час рассвета,
Слуги спят, и ночь бледна.

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Только в грозном утреннем тумане
Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет,
Анна встанет в смертный час.

1910 — 16 февраля 1912

ПЛЯСКИ СМЕРТИ

1

Как тяжело мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей...

Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.

Мертвец весь день трудится над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабресный анекдот...

Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор...
А мертвеца — к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотр.

В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем — изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка — дура и супруг — дурак.

Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музыкой заглушон...
Он крепко жмет приятельские руки —
Живым, живым казаться должен он!

Лишь у колонны встретится очами
С подругою — она, как он, мертва.
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:

— Усталый друг, мне странно в этом зале.
— Усталый друг, могила холодна.
— Уж полночь. — Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена...

А там — NN уж ищет взором страстным
Его, его — с волнением в крови...
В ее лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви...

Он шепчет ей незначашие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова...

И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он...

— Как он умен! Как он в меня влюблен!
В ее ушах — нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.

19 февраля 1912

2

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

3

Пустая улица. Один огонь в окне.
Еврей-аптекарь охает во сне.

А перед шкапом с надписью *Venera*,¹
Хозяйственно согнув скрипучие колена,

Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом...

1 Яд. — Ред.

Нашел... Но ненароком чем-то звякнул,
И череп повернул... Аптекарь крикнул,

Привстал, — и на другой свалился бок...
А гость меж тем — заветный пузырек

Сует из-под плаща двум женщинам безносым
На улице, под фонарем белёсым.

Октябрь 1912

4

Старый, старый сон. Из мрака
Фонари бегут — куда?
Там — лишь черная вода,
Там — забвенья навсегда.

Тень скользит из-за угла,
К ней другая подползла.
Плащ распахнут, грудь бела,
Алый цвет в петлице фрака.

Тень вторая — стройный латник,
Иль невеста от венца?
Шлем и перья. Нет лица.
Неподвижность мертвеца.

В воротах гремит звонок,
Глухо щелкает замок.
Переходят за порог
Проститутка и развратник...

Воег ветер леденящий,
Пусто, тихо и темно.
Наверху горит окно.
Всё равно.

Как свинец, черна вода.
В ней забвеньё навсегда.
Третий призрак. Ты куда,
Ты, из тени в тень скользящий?

7 февраля 1914

б

Вновь богатый зол и рад,
Вновь унижен бедный.
С кровель каменных громад
Смотрит месяц бледный,

Насыляет тишину,
Оттеняет крутизну
Каменных отвесов,
Черноту навесов...

Всё бы это было зря,
Если б не было царя,
Чтоб блюсти законы.

Только не ищи дворца,
Добродушного лица,
Золотой короны.

Он — с далеких пустырей
В свете редких фонарей
Появляется.

Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Улыбается.

7 февраля 1914

Да, знаю я: пронзили ночь отвеса
Незримые лучи.

Но меры нет страданию человека,
Ослепшего в ночи!

Да, знаю я, что втайне — мир прекрасен
(Я знал Тебя, Любовь!)

Но этот шар над льдом жесток и красен,
Как гнев, как месть, как кровь!

Ты ведаешь, что некий свет струится,
Объемля всё до дна,

Что ищет нас, что в свисте ветра длится
Иная тишина...

Но страннику, кто снежной ночью полон,
Кто загляделся в тьму,

Приснится, что не в вечный свет вошел он,
А луч сошел к нему.

23 марта 1912

Приближается звук. И, покорна щемящему
звучу,

Молодеет душа.

И во сне прижимаю к губам твою
прежнюю руку,

Не дыша.

Снится, — снова я мальчик, и снова
любовник,

И овраг, и бурьян,

И в бурьяне — колючий шиповник,
И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листья, и колючие ветки,
я знаю,

Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от края
до края,

И окошко твое.

Этот голос — он твой, и его непонятному
звучу

Жизнь и горе отдам,

Хоть во сне, твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

2 мая 1912

И вновь — порывы юных лет,
И взрывы сил, и крайность мнений. . .
Но счастья не было — и нет.
Хоть в этом больше нет сомнений!

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но если выйдешь цел — тогда
Ты, наконец, поверишь чуду,

И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на пол-жизни не хватило,

Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И всё уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь, —

И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастьем привыкли звать!

19 июня 1912

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастья твердишь, — который раз?

Что счастье? Вечерние прохлады
В темнеющем саду, в лесной глуши?
Иль мрачные порочные улады
Вина, страстей, погибели души?

Что счастье? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон, и отдых от забот. . .
Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет. . .

Вздыхнул, глядишь — опасность миновала. . .
Но в этот самый миг — опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!

И, уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон, —
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен. . .

Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать...
Как страшно всё! Как дико! — Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять..

2 июля 1912

Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза.
Кто-то на плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза...

И мгновенно житейское канет,
Словно в темную пропасть без дна...
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина...

И напев заглушенный и юный
В затаенной затронет тиши
Усыпленные жизнью струны
Напряженной, как арфа, души.

Июль 1912

Болотистым, пустынным лугом
Летим. Одни.
Вон, точно карты, полукругом
Расходятся огни.

Гадай, дитя, по картам ночи,
Где твой маяк...
Еще смелей нам хлынет в очи
Неотвратимый мрак.

Он морем ночи замкнут — дальный
Простор лугов!
И запах горький и печальный
Туманов и духов,

И кбльца сквозь перчатки тонкой,
И строгий вид,
И эхо над пустыней звонкой
От цоканья копыт —

Всё говорит о беспредельном,
Всё хочет нам помочь,
Как этот мир, лететь бесцельно
В сияющую ночь!

Октябрь 1912

В небе — день, всех ночей суеверней,
Сам не знает, он — ночь, или день.
На лице у подруги вечерней
Золотится неясная тень.

Но рыбак эти сонные струи
Не будил еще взмахом весла...
Огневые ее поцелуи
Говорят мне, что ночь — не прошла...

Легкий ветер повеял нам в очи...
Если можешь, костер потуши!
Потуши в сумасшедшие ночи
Расплавившийся уголь души!

Октябрь 1912

СНЫ

И пора уснуть, да жалко,
Не хочу уснуть!
Конь качается качалка,
На коня б скакнуть!

Луч лампадки, как в тумане,
Раз-два, раз-два, раз!..
Идет конница... а няня
Тянет свой рассказ...

Внемлю сказке древней, древней
О богатырях,
О заморской, о царевне,
О царевне... ах...

Раз-два, раз-два! Конник в латах
Трогает коня
И манит и мчит куда-то
За собой меня.

За моря, за океаны
Он манит и мчит,
В дымно-синие туманы,
Где царевна спит...

Спит в хрустальной, спит в кровати
Долгих сто ночей,
И зеленый свет лампадки
Светит в очи ей...

Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,
Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены...

С кем там бьется конник гневный,
Бьется семь ночей?
На седьмую — над царевной
Светлый круг лучей...

И сквозь дремные покровы.
Стелятся лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи...

Сладко дремлется в кровати.
Дремлешь? — Внемлю... сплю.
Луч зеленый, луч лампадки,
Я тебя люблю!

Октябрь 1912

К МУЗЕ

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты — и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и ад.

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?

Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Всё проклятье своей красоты?

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого Аи,
И любви цыганской короче
Были страшные ласки твои...

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как польза!

29 декабря 1912

Мы забыты, одни на земле.
Посидим же тихонько в тепле.

В этом комнатном, теплом углу
Поглядим на октябрьскую мглу.

За окном, как тогда, огоньки.
Милый друг, мы с тобой старики.

Всё, что было и бурь и невзгод,
Позади. Что ж ты смотришь вперед?

Смотришь, точно ты хочешь прочесть
Там какую-то новую весть?

Точно ангела бурного ждешь?
Всё прошло. Ничего не вернешь.

Только стены, да книги, да дни.
Милый друг мой, привычны они.

Ничего я не жду, не ропщу,
Ни о чем, что прошло, не грущу.

Только, вот, принялась ты опять
Светлый бисер на нитки низать,

Как когда-то, ты помнишь тогда...
О, какие то были года!

Но, когда ты моложе была,
И шелка ты поярче брала,

И ходила рука побыстрей...
Так возьми ж и теперь попестрей,

Чтобы шелк, что вдеаешь в иглу,
Побеждал пестротой эту мглу.

19 октября 1913

Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!

Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют...
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!

За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл...
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури — Азраил!

Октябрь 1913

Есть времена, есть дни, когда
Ворвется в сердце ветер снежный,
И не спасет ни голос нежный,
Ни безмятежный час труда...

Испуганной и дикой птицей
Летишь ты, но заря — в крови...
Тоскою, страстью, огневицей
Идет безумие любви...

Пол-сердца — туча грозовая,
Под ней — всё глушь, всё немота,
И эта — прежняя, простая —
Уже другая, уж не та...

Темно, и весело, и душно,
И, задыхаясь, не дыша,
Уже во всем другой послушна
Доселе гордая душа!

22 ноября 1913

СЕДОЕ УТРО

Утро туманное, утро седое...

Тургенев

Утрет. С богом! По домам!
Позвякивают колокольцы.
Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольца,
И я — который раз подряд —
Целую кольца, а не руки...
В плече, откинутаго назад, —
Задор свободы и разлуки,
Но, еле видная за мглой,
За дождевою, за докучной...
И взгляд, как уголь под золой,
И голос утренний и скучный...
Нет, жизнь и счастье до утра
Я находил не в этом взгляде!
Не этот голос пел вчера
С гитарой вместе на эстраде!..
Как мальчик, шаркнула; поклон
Отвешивает... «До свиданья...»
И звякнул о браслет жетон
(Какое-то воспоминанье)...
Я, молча, на нее гляжу,

Сжимаю пальцы ей до боли...
Ведь нам уж не встречаться боле...
Что ж на прощанье ей скажу?
— Прощай, возьми еще колечко.
— Оденешь рученьку свою
— И смуглое свое сердечко
— В серебряную чешую...
— Лети, как пролетала, тая,
— Ночь огневая, ночь былая...
— Ты, время, память притуши,
— А путь снежком запороши.

29 ноября 1913

НОВАЯ АМЕРИКА

Праздник радостный, праздник великий,
Да звезда из-за туч не видна...
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.

За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.
Только ль страшный простор пред очами,
Непонятная ширь без конца?

Утопая в глубоком сугробе,
Я на утлые санки сажусь.
Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты, да кресты...

Только ладан твой синий и росный
Просквозит мне порою иным...

Нет, не старческий лик и не постный
Под московским платочком цветным!

Сквозь земные поклоны, да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —
Шопотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои.

Дальше, дальше... И ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем...
Куст дорожный по ветру метнулся,
Словно дьякон взмахнул орарем...

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далекой дали...

Иль опять это — стан половецкий
И татарская буйная крепь?
Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...

Нет, не выются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лагун...

На пустынном просторе, на диком
Ты всё та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воеет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

12 декабря 1918

ХУДОЖНИК

В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон.

Вот он — возник. И с холодным вниманием
Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
И перед зорким моим ожиданием
Тянет он еле приметную нить.

С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движение и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого — нет.

И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил, —
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил — убил.

И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду — и скучаю опять.

12 декабря 1913

Я вижу блеск, забытый мной,
Я различаю на мгновение
За скрипками — иное пенье,
Тот голос низкий и грудной,

Каким ответила подруга
На первую любовь мою.
Его доньше узнаю
В те дни, когда бушует вьюга,

Когда былое без следа
Прошло, и лишь чужие страсти
Напоминают иногда,
Напоминают мне — о счастье.

12 декабря 1913

Ты говоришь, что я дремлю,
Ты унизительно хохочешь.
И ты меня заставить хочешь
Сто раз произнести: *люблю*.

Твой южный голос томен. Стан
Напоминает стан газели,
А я пришел к тебе из стран,
Где вечный снег и вой метели.

Мне странен вальса легкий звон
И душный облак над тобою.
Ты для меня — прекрасный сон,
Сквозящий пылью снеговой...

И я боюсь тебя назвать
По имени. Зачем мне имя?
Дай мне тревожно созерцать
Очами жадными моими

Твой южный блеск, забытый мной,
Напоминающий напрасно
День улетевший, день прекрасный,
Убитый ночью снеговой.

12 декабря 1913

Ваш взгляд — его мне подстеречь...
Но уклоняете вы взгляды...
Да! Взглядом — вы боитесь сжечь
Меж нами вставшие преграды!

Когда же отойду под сень
Колонны мраморной угрюмо,
И пожирающая дума
Мне на лицо нагонит тень,

Тогда — угрюмому скитальцу
Вослед скользнет ваш беглый взгляд,
Тревожно шелк зашевелят
Трепещущие ваши пальцы,

К ланитам хлынувшую кровь
Не скроет море кружевдушных,
И я прочту в очах послушных
Уже ненужную любовь.

12 декабря 1913

О, нет! не расколдуешь сердца ты
Ни лестию, ни красотой, ни словом.
Я буду для тебя чужим и новым,
Всё призрак, всё мертвец, в лучах мечты.

И ты уйдешь. И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.
Всё будет сном: что ты хоронишь тело,
Что ты стоишь три ночи в головах.

Упоена *красивыми* мечтами,
Ты укоризны будешь слать судьбе.
Украшишь ты нежнейшими цветами
Могильный холм, приснившийся тебе.

И тень моя пройдет перед тобою
В девятый день, и в день сороковой
Неузнанной, *красивой*, неживою.
Такой ведь ты искала? — Да, такой.

Когда же грусть твою погасит время,
Захочешь жить, сначала робко, ты
Другими снами, сказками не теми...
И ты *простой* возжаждешь красоты.

И он придет, знакомый, долгожданный,
Тебя будить от *неземного* сна.
И в мир другой, на миг благоуханный,
Тебя умчит последняя весна.

А я умру, забытый и ненужный,
В тот день, когда придет твой новый друг,
В тот самый миг, когда твой смех жемчужный
Ему расскажет, что прошел *недуг*.

Забудешь ты мою могилу, имя...
И вдруг — очнешься: пусто; нет огня;
И в этот час, под ласками чужими,
Припомнишь ты и призовешь — меня!

Как иступленно ты протянешь руки
В глухую ночь, о, бедная моя!
Увы! Не долетают жизни звуки
К утешенным весной небытия.

Ты проклянешь, в мученьях невозможных,
Всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить.

15 декабря 1913

Ты — буйный зов рогов призывных,
Влекущий на неверный след,
Ты — серый ветер рек разливных,
Обманчивый болотный свет.

Люблю тебя, как посох — странник,
Как воин — милую в бою,
Тебя провижу, как изгнанник
Провидит родину свою.

Но лик твой мне незрим, неведом,
Твоя непостижима власть:
Ведя меня, как вождь, к победам,
Испепеляешь ты, как страсть.

Декабрь 1913

Натянулись гитарные струны,
Сердце ждет.
Только тронь его голосом юным —
Запоет!

И старик перед хором
Уже топнул ногой.
Обожги меня голосом, взором,
Ксюша, пой!

И гортанные звуки
Понеслись,
Словно в серебре смуглые руки
Обвились...

Бред безумья и страсти,
Бред любви...
Невозможное счастье!
На! Лови!

19 декабря 1913

ИЗ «ЖИЗНИ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ»

1

Поглядите, вот бессильный,
Не умевший жизнь спасти,
И она, как дух могильный,
Тяжко дремлет взаперти.

В голубом морозном своде
Так приплюснут диск больной,
Запевавший всё в природе
Нестерпимой желтизной.

Уходи и ты. Довольно
Ты терпел, несчастный друг,
От его тоски невольной,
От его невольных мук.

То, что было, миновалось,
Ваш удел на все похож:
Сердце к правде порывалось,
Но его сломила ложь.

30 декабря 1913

360

2

Всё свершилось по писаньям:
Остудился юный пыл,
И конец очарованьям
Постепенно наступил.

Был в чаду, не чуя чада,
Утешался мукой ада,
Перечислил все слова,
Но — болела голова...

Долго, жалобно болела,
Тело тихо холодело,
Пробудился: тридцать лет.
Хвать-похвать, — а сердца нет.

Сердце — крашенный мертвец.
И, когда настал конец,
Он нашел весьма банальной
Смерть души своей печальной.

30 декабря 1913

3

Когда невзначай в воскресенье
Он душу свою потерял,
В сыскное не шел отделение,
Свидетелей он не искал.

А было их, впрочем, не мало:
Дворовый щенок голосил,

361

В воротах старуха стояла,
И дворник на чай попросил.

Когда же он медленно вышел,
Подняв воротник, из ворот,
Тарашил сочувственно с крыши
Глазищи обмызганный кот.

Ты думаешь, тоже свидетель?
Так он и ответит тебе!
В такой же гульбе
Его добродетель!

30 декабря 1913

4

Пристал ко мне нищий дурак,
Идет по пятам, как знакомый.
— Где деньги твои? — Снес в кабак.
— Где сердце? — Закинута в омут.

— Чего ж тебе надо? — Того,
Чтоб стал ты, как я, откровенен,
Как я, в униженьи, смиренен,
А больше, мой друг, ничего.

— Что лезешь ты в сердце чужое?
Ступай, проходи, сторонись!
— Ты думаешь, милый, нас двое?
Напрасно: смотри, оглянись..

И правда (ну, задал задачу!),
Гляжу — близь меня никого...
В карман посмотрел — ничего...
Взглянул в свое сердце... и плачу.

30 декабря 1913

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

*Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!*

5 февраля 1914

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,
Увел далёко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю
Клинком отравленным заколот.

6 февраля 1914

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.

Четыре — серых. И вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
Ходили важно мимо нас.

Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг — суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.

И вновь обычным стало море,
Маяк уныло замигал,
Когда на низком семафоре
Последний отдали сигнал...

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям — и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

6 февраля 1914

Как день, светла, но непонятна,
Вся — явь, но — как обрывок сна,
Она приходит с речью внятной,
И вслед за ней — всегда весна.

Вот здесь садится и болтает.
Ей нравится дразнить меня
И намекать, что всякий знает
Про тайный вихрь ее огня.

Но я, не вслушиваясь строго
В ее порывистую речь,
Слежу, как ширится тревога
В сияньи глаз и в дрожи плеч.

Когда ж дойдут до сердца речи,
И опьянят ее духи,
И я влюблюсь в глаза и в плечи,
Как в вешний ветер, как в стихи, —

Сверкнет холодное запястье,
И, речь прервав, она сама
Уже твердит, что сила страсти —
Ничто пред холодом ума!..

20 февраля 1914

Петербургские сумерки снежные.
Взгляд на улице, розы в дому...
Мысли — точно у девушки нежные,
А о чем, — и сама не пойму...

Всё гляжусь в мое зеркало сонное...
(Он, должно быть, глядится в окно...)
Вон лицо мое — злое, влюбленное!
Ах, как мне надоело оно!..

Запевания низкого голоса,
Снежно-белые руки мои,
Мои тонкие рыжие волосы, —
Как давно они стали ничьи!

Муж ушел. Свет такой безобразный...
Всё же кровь розовеет на свет...
Посмотрю-ка, он там или нет?
Так и есть... ах, какой неотвязный!

15 марта 1914

КАРМЕН

1

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

4 марта 1914

2

На небе — празелень, и месяца осколок
Омыт, в лазури спит, и ветер, чуть дыша,
Проходит, и весна, и лед последний колок,
И в сонный входит вихрь смятенная душа...

Что месяца нежней, что зорь закатных
выше?

Знай про себя, молчи, друзьям не говори:
В последнем этаже, там, под высокой крышей,
Окно, горящее не от одной зари...

24 марта 1914

370

3

Есть демон утра. Дымно-светел он,
Золотокудрый и счастливый.
Как небо, синь струящийся хитон,
Весь — перламутра переливы.

Но как ночью тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей — червонно-красным,
И голос — рокотом забытых бурь.

24 марта 1914

4

Бушует снежная весна.
Я отвожу глаза от книги...
О, страшный час, когда она,
Читая по руке Цуниги,
В глаза Хозе метнула взгляд!
Насмешкой засветились очи,
Блеснул зубов жемчужный ряд,
И я забыл все дни, все ночи,
И сердце захлестнула кровь,
Смывая память об отчизне...
А голос пел: *Ценою жизни*
Ты мне заплатишь за любовь!

18 марта 1914

371

Среди поклонников Кармен,
Спешащих пестрою толпою,
Ее зовущих за собою,
Один, как тень у серых стен
Ночной таверны Лиллас-Пастья,
Молчит и сумрачно глядит,
Не ждет, не требует участия,
Когда же бубен зазвучит
И глухо зазвенят запястья, —
Он вспоминает дни весны,
Он средь бушующих созвучий
Глядит на стан ее певучий
И видит творческие сны.

26 марта 1914

Сердитый взор бесцветных глаз.
Их гордый вызов, их презренье.
Всех линий — таянье и пенье.
Так я Вас встретил в первый раз.
В партере — ночь. Нельзя дышать.
Нагрудник черный близко, близко...
И бледное лицо... и прядь
Волос, спадающая низко...
О, не впервые странных встреч
Я испытал немую жуткость!
Но этих нервных рук и плеч
Почти пугающая чуткость...

В движеньях гордой головы
Прямые признаки досады...
(Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы).
А там, под круглой лампой, там
Уже замолкла сегидилья,
И злость, и ревность, что не к Вам
Идет влюбленный Эскамильо,
Не Вы возьметесь за тесьму,
Чтобы убавить свет ненужный,
И не блеснет уж ряд жемчужный
Зубов — несчастному тому...
О, не глядеть, молчать — нет мочи,
Сказать — не надо и нельзя...
И Вы уже (звездой средь ночи),
Скользящей поступью скользя,
Идете — в поступи истома,
И песня Ваших нежных плеч
Уже до ужаса знакома,
И сердцу суждено беречь,
Как память об иной отчизне, —
Ваш образ, дорогой навек...

А там: Уйдем, уйдем от жизни,
Уйдем от этой грустной жизни!
Кричит погибший человек...

И март наносит мокрый снег.

25 марта 1914

Вербы — это весенняя таль,
 И чего-то нам светлого жаль,
 Значит — теплится где-то свеча,
 И молитва моя горяча,
 И целую тебя я в плеча.

Этот колос ячменный — поля,
 И залихватый крик журавля,
 Это значит — мне ждать у плетня
 До заката горячего дня.
 Значит — ты вспоминаешь меня.

Розы — страшен мне цвет этих роз,
 Это — рыжая ночь твоих кос?
 Это — музыка тайных измен?
 Это — сердце в плену у Кармен?

30 марта 1914

Ты, как отзвук забытого гимна
 В моей черной и дикой судьбе.
 О, Кармен, мне печально и дивно,
 Что приснился мне сон о тебе.

Вешний трепет, и лепет, и шелест,
 Непробудные, дикие сны,
 И твоя одичалая прелесть —
 Как гитара, как бубен весны!

И проходишь ты в думах и грезах,
 Как царица блаженных времен,
 С головой, утопающей в розах,
 Погруженная в сказочный сон.

Спишь, змеєю склубясь прихотливой,
 Спишь в дурмане и видишь во сне
 Даль морскую и берег счастливый,
 И мечту, недоступную мне.

Видишь день беззакатный и жгучий
 И любимый, родимый свой край,
 Синий, синий, певучий, певучий,
 Неподвижно-блаженный, как рай.

В том раю тишина бездыханна,
 Только в куще сплетенных ветвей
 Дивный голос твой, низкий и странный,
 Славит бурю цыганских страстей.

28 марта 1914

О, да, любовь вольна, как птица,
 Да, всё равно — я твой!
 Да, всё равно мне будет сниться
 Твой стан, твой огневой!

Да, в хищной силе рук прекрасных,
 В очах, где грусть измен,

Весь бред моих страстей напрасных,
Моиx ночей, Кармен!

Я буду петь тебя, я небу
Твой голос передам!
Как нерея, свершу я требу
За твой огонь — звездам!

Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...

И в тихий час ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,
Блеснет мне белыми зубами
Твой неотступный лик.

Да, я томлюсь надеждой сладкой,
Что ты, в чужой стране,
Что ты, когда-нибудь, украдкой
Помыслишь обо мне...

За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен, —
Пусть эта мысль предстанет строгой.
Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!

28 марта 1914

Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь.
Так вот что так влекло сквозь бездну
грустных лет,
Сквозь бездну дней пустых, чье бремя
не избудешь.
Вот почему я — твой поклонник и поэт!

Здесь — страшная печать отверженности
женской
За прелесть дивную — постичь ее нет сил.
Там — дикий сплав миров, где часть
души вселенской
Рыдает, исходя гармонией светил.

Вот — мой восторг, мой страх в тот вечер
в темном зале!
Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя!
Вот чьи глаза меня так странно провожали,
Еще не угадав, не зная... не любя!

Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе — лишь красный облак
дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!

И в зареве его — твоя безумна младость...
Всё — музыка и свет: нет счастья,
нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя: я сам такой, *Кармен*.

31 марта 1914

ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ

Боль проходит понемногу,
Не на век она дана.
Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина.

Ты смежил больные вежды,
Ты не ждешь — она вошла.
Вот она — с хрустальным звоном
Преисполнила надежды,
Светлым кругом обвела.

Слышишь ты сквозь боль мучений,
Точно друг твой, старый друг,
Тронул сердце нежной скрипкой?
Точно легких сновидений
Быстрый рой домчался вдруг?

Это — легкий образ рая,
Это — милая твоя.
Ляг на смертный одр с улыбкой,

Тихо грезить, замыкая
Круг постылый бытия.

Протянуться без желаний,
Улыбнуться навсегда.
Чтоб в последний раз проплыли
Мимо, сонно, как в тумане,
Люди, зданья, города...

Чтобы звуки, чуть тревожа
Легкой музыкой земли,
Прозвучали, потюмили
Над последним миром ложа
И в иное увлекли...

Лесть, коварство, слава, злато —
Мимо, мимо, навсегда...
Человеческая тупость —
Всё, что мучило когда-то,
Забавляло иногда...

И опять — коварство, слава,
Злато, лесть, всему венец —
Человеческая глупость,
Безисходна, величава,
Бесконечна... Что ж, конец?

Нет... еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

А когда пройдет всё мимо,
Чем тревожила земля,
Та, кого любил ты много,
Поведет рукой любимой
В Елисейские поля.

14 мая 1914

Смычок запел. И облак душный
Над нами встал. И соловьи
Приснились нам. И стан послушный
Скользнул в объятия мои...
Не соловей — то скрипка пела,
Когда ж оборвалась струна,
Кругом рыдала и звенела,
Как в вешней роще, тишина...
Как там, в рыдающие звуки
Вступала майская гроза...
Пугливые сближались руки,
И жгли смеженные глаза...

14 мая 1914

Я помню нежность ваших плеч —
Они застенчивы и чутки.
И лаской прерванную речь,
Вдруг, после болтовни и шутки.

Волос червонную руду
И голоса грудные звуки.
Сирени темной в час разлуки
Пятиконечную звезду.

И то, что больше и странней:
Из вихря музыки и света —
Взор, полный долгого привета,
И тайна *верности*... твоей.

1 июля 1914

Ты жил один! Друзей ты не искал
И не искал единоверцев.
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастья сердце.

— Безумный друг! Ты мог бы счастлив
быть!..
— Зачем? Средь бурного ненастья
Мы, всё равно, не можем сохранить
Неумирающего счастья!

26 августа 1914

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

А, воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслунить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне... —
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

26 августа 1914

Задебранные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горячий
И пели о своем Христе.

Теперь пастуший кнут не свистнет,
И песни не споеет свирель,
Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьмы сбитая кудель.

Навеки непробудной тенью
Ресницы мхов опушены,
Спят, убаюканные ленью
Людской врагини — тишины.

И человек печальной цапли
С болотной кочки не спугнет,
Но в каждой тихой, ржавой капле —
Зачало рек, озер, болот.

И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.

29 августа 1914

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
Не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит, как цыганская песня,
Как те невозвратные дни...

Что было любимо, — всё мимо, мимо...
Вперед — неизвестность пути...
Благословенно, неизгладимо,
Невозвратно... прости!

31 августа 1914

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык
за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизнью цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака*,
И кричали *ура*, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило *ура* без конца.

Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё несло к нам ура,
В грозном клике звучало: *пора!*

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С Галицийских кровавых полей...

1 сентября 1914

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забить не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взвывается с криком воронье, —
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!

8 сентября 1914

АНТВЕРПЕН

Пусть это время далеко,
Антверпен! — И за морем крови
Ты памятен мне глубоко...
Речной туман ползет с верховий
Широкой, как Нева, Эско.

И над спокойною рекой
В тумане теплом и глубоком,
Как взор фламандки молодой,
Нет счета мачтам, верфям, докам,
И пахнет снастью и смолой.

Тревожа водяную гладь,
В широко стелющемся дыме
Уж якоря готов отдать
Тяжелый двухмачтовый стимер:
Ему на Конго курс держать...

А ты — во мглу веков глядись
В спокойном городском музее:
Там царствует Квентин Массис;
Там в складки платья Саломеи
Цветы из золота вплелись...

Но всё — притворство, всё — обман:
Взгляни наверх... В клочке лазури,
Мелькающем через туман,
Увидишь ты предвестье бури —
Кружащийся аэроплан.

5 октября 1914

Он занесен — сей жезл железный —
Над нашей головой. И мы
Летим, летим над грозной бездной
Среди сгущающейся тьмы.

Но чем полет неукротимей,
Чем ближе веянье конца,
Тем лучезарнее, тем зримей
Сияние Ее Лица.

И сквозь круженье вихревое,
Сынам отчаянья сквозя,
Ведет, уводит в голубое
Едва приметная стезя.

3 декабря 1914

Я не предал белое знамя,
Оглушенный криком врагов,
Ты прошла ночными путями,
Мы с тобой — одни у валов.

Да, ночные пути, роковые,
Развели нас и вновь свели,
И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли.

Крест и насыпь могилы братской,
Вот где ты теперь, тишина!
Лишь щемящей песни солдатской
Издали несется волна.

А вблизи — всё пусто и немо,
В смертном сне — враги и друзья.
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

3 декабря 1914

За горами, лесами,
За дорогами пыльными,
За холмами могильными —
Под другими цветешь небесами...

И когда забелеет гора,
Дол оденется зеленью вешнею,
Вспоминаю с печалью нездешнего
Всё былое мое, как вчера...

В снах печальных тебя узнаю
И сжимаю руками мои
Чародейную руку твою,
Повторяя далекое имя.

30 сентября 1915

Пусть я и жил, не любя,
Пусть я и клятвы нарушу, —
Всё ты волнуешь мне душу,
Где бы ни встретил тебя!

О, эти дальние руки!
В тусклое это житье
Очарованье свое
Вносишь ты, даже в разлуке!

И в одиноком моем
Доме, пустом и холодном,
В сне, никогда не свободном,
Снится мне брошенный дом.

Старые снятся минуты,
Старые снятся года...
Видно, уж так навсегда
Думы тобою замкнуты!

Кто бы ни звал — не хочу
На суетливую нежность
Я променять безнадежность —
И, замыкаясь, молчу.

8 октября 1915

ПЕРЕД СУДОМ

Что же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала — в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой — не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.

Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный путь...

Но ведь я немного по-другому,
Чем иные, знаю жизнь твою,
Более, чем судьям, мне знакомо,
Как ты очутилась на краю.

Вместе ведь по краю, было время,
Нас водила пагубная страсть,
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть.

Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе — ты и я,
Что дано, в объятьях умирая,
Увидать блаженные края...

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала. —
Все-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Эта прядь — такая золотая
Разве не от старого огня? —
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная — прости меня!

11 октября 1915

На улице — дождик и слякоть,
Не знаешь, о чем горевать.
И скучно, и хочется плакать,
И некуда силы девать.

Глухая тоска без причины
И дум неотвязный угар.
Давай-ка, наколем лучины,
Раздуюм себе самовар!

Авось, хоть за чайным похмельем
Ворчливые речи мои
Затемят случайным весельем
Сонливые очи твои.

За верность старинному чину!
За то, чтобы жить не спеша!
Авось, и распарит кручину
Хлебнувшая чаю душа!

10 декабря 1915

Превратила всё в шутку сначала,
Поняла — принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё — зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.

Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое. —
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?

29 февраля 1916

Дикий ветер
Стекла гнет,
Ставни с петель
Буйно рвет.

Час заутрени пасхальной,
Звон далекий, звон печальный,
Глухота и чернота.
Только ветер, гость нахальный,
Потрясает ворота.

За окном черно и пусто,
Ночь полна шагов и хруста,
Там река ломает лед,
Там меня невеста ждет...

Как мне скинуть злую дрёму,
Как мне гостя отогнать?
Как мне милую — чужому,
Проклятому не отдать?

Как не бросить всё на свете,
Не отчаяться во всем,
Если в гости ходит ветер,

Только дикий черный ветер,
Сотрясающий мой дом?

Что же ты, ветер,
Стекла гнешь?
Ставни с петель
Дико рвешь?

22 марта 1916

КОРШУН

Черта за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг. —
В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь, соси,
«Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

22 марта 1916

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух,
Да, таким я и буду с тобой:
Не для ласковых слов я выковывал дух,
Не для дружб я боролся с судьбой.

Ты и сам был когда-то мрачней и смелей,
По звездам прочитая ты умел,
Что грядущие ночи — темней и темней,
Что ночам неизвестен предел.

Вот — свершилось. Весь мир одичал,
и окрест

Ни один не мерцает маяк.
И тому, кто не понял вещания звезд, —
Нестерпим окружающий мрак.

И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,
Что грядущего ночь не пуста, —
Затуманила сердце усталость и месть,
Отвращенье скривило уста...

Было время надежды и веры большой —
Был я прост и доверчив, как ты.
Шел я к людям с открытой и детской душой,
Не пугаясь людской клеветы...

А теперь — тех надежд не отыщешь следа,
Всё к далеким звездам унеслось.
И, к кому шел с открытой душою тогда,
От того отвернуться пришлось.

И сама та душа, что, пылая, ждала,
Треволнениям отдаться спеша, —
И враждой, и любовью она изошла,
И сгорела она, та душа.

И остались — улыбкой сведенная бровь,
Сжатый рот и печальная власть
Бунтовать ненасытную женскую кровь,
Зажигая звериную страсть...

Не стучись же напрасно у плотных дверей,
Тщетным стоном себя не томи:
Ты не встретишь участия у бедных зверей,
Называвшихся прежде людьми.

Ты — железною маской лицо закрывай,
Поклоняясь священным гробам,
Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.

9 июня 1916

СКИФЫ

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас —
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома́ лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!..

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений!..

Мы помним всё — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады!..

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах!..

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых!..

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!

А если нет, — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинять
Большое позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне — вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

30 января 1918

П О Э М Ы

**СОЛОВЬИНЫЙ
САД**

Я ломаю слоистые скалы
 В час отлива на илистом дне,
 И таскает осел мой усталый
 Их куски на мохнатой спине.

Донесем до железной дороги,
 Сложим в кучу, — и к морю опять
 Нас ведут волосатые ноги,
 И осел начинает кричать.

И кричит, и трубит он, — отрадно,
 Что идет налегке хоть назад.
 А у самой дороги — прохладный
 И тенистый раскинулся сад.

По ограде высокой и длинной
 Лишних роз к нам свисают цветы.
 Не смолкает напев соловьиный,
 Что-то шепчут ручьи и листья.

Крик осла моего раздастся
 Каждый раз у садовых ворот,
 А в саду кто-то тихо смеется,
 И потом — отойдет и поет.

И вникая в напев беспокойный,
Я гляжу, понукая осла,
Как на берег скалистый и знойный
Опускается синяя мгла.

2

Знойный день догорает бесследно,
Сумрак ночи ползет сквозь кусты;
И осел удивляется, бедный:
— Что, хозяин, раздумался ты?

Или разум от зноя мутится,
Замечтался ли в сумраке я?
Только всё неотступнее снится
Жизнь другая — моя, не моя...

И чего в этой хижине тесной
Я, бедняк обездоленный, жду,
Повторяя напев неизвестный,
В соловьином звенящий саду?

Не доносятся жизни проклятья
В этот сад, обнесенный стеной,
В синем сумраке белое платье
За решеткой мелькает резной.

Каждый вечер в закатном тумане
Прохожу мимо этих ворот,
И она меня, легкая, манит
И круженьем, и пеньем зовет.

И в призывном круженьи и пеньи
Я забытое что-то ловлю,
И любить начинаю томленье,
Недоступность ограды люблю.

3

Отдыхает осел утомленный,
Брошен лом на песке под скалой,
А хозяин блуждает влюбленный
За ночную, за знойною мглой.

И знакомый, пустой, каменистый,
Но сегодня — таинственный путь
Вновь приводит к ограде тенистой,
Убегающей в синюю муть.

И томление всё безисходней,
И идут за часами часы,
И колючие розы сегодня
Опустились под тягой росы.

Наказанье ли ждет иль награда,
Если я уклонюсь от пути?
Как бы в дверь соловьиного сада
Постучаться, и можно ль войти?

А уж прошлое кажется странным,
И руке не вернуться к труду:
Сердце знает, что гостем желанным
Буду я в соловьином саду...

Правду сердце мое говорило,
И ограда была не страшна.
Не стучал я — сама отворила
Неприступные двери она.

Вдоль прохладной дороги, меж лилий
Однозвучно запели ручьи,
Сладкой песнью меня оглушили,
Взяли душу мою соловьи.

Чуждый край незнакомого счастья
Мне открыли объятия те,
И звенели, спадая, запястья
Громче, чем в моей нищей мечте.

Опьяненный вином золотистым,
Золотым опаленный огнем,
Я забыл о пути каменистом,
О товарище бедном своем.

Пусть укрыла от дольного горя
Утонувшая в розах стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!

И вступившая в пенью тревога
Рокот волн до меня донесла...
Вдруг — виденье: большая дорога
И усталая поступь осла...

И во мгле благовонной и знойной
Обвиваясь горячей рукой,
Повторяет она беспокойно:
— Что с тобою, возлюбленный мой?

Но, вперяясь во мглу сиротливо,
Надышаться блаженством спеша,
Отдаленного шума прилива
Уж не может не слышать душа.

Я проснулся на мглистом рассвете
Неизвестно которого дня.
Спит она, улыбаясь, как дети, —
Ей пригрезился сон про меня.

Как под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив!..
По далеким и мерным ударам
Я узнал, что подходит прилив.

Я окно распахнул голубое,
И почудилось, будто возник
За далеким рычаньем прибоа
Призывающий жалобный крик.

Крик осла был протяжен и долог,
Проникал в мою душу, как стон,
И тихонько задержнул я полог,
Чтоб продлить очарованный сон.

И, спускаясь по камням ограды,
Я нарушил цветов забытье.
Их шипы, точно руки из сада,
Уцепились за платье мое.

7

Путь знакомый и прежде недлинный
В это утро кремнист и тяжел.
Я вступаю на берег пустынный,
Где остался мой дом и осел.

Или я заблудился в тумане?
Или кто-нибудь шутит со мной?
Нет, я помню камней очертанье,
Тощий куст и скалу над водой...

Где же дом? — И скользящей ногою
Спотыкаюсь о брошенный лом,
Тяжкий, ржавый, под черной скалою
Затянувшийся мокрым песком...

Размахнувшись движеньем знакомым
(Или всё еще это во сне?),
Я ударил заржавленным ломом
По слоистому камню на дне...

И оттуда, где серые спруты
Покачнулись в лазурной щели,
Закарабкался краб всполохнутый
И присел на песчаной мели.

Я подвинулся, — он приподнялся,
Широко разеваая клешни,
Но сейчас же с другим повстречался,
Подрались и пропали они...

А с тропинки, протоптанной мною,
Там, где хижина прежде была,
Стал спускаться рабочий с киркою,
Погоняя чужого осла.

6 января 1914 — 14 октября 1915

Юность — это возмездие.

Ибсен

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в годы, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы¹ рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины ее возникновения, откуда произошли ее ритмы.

Интересно и бесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же, нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя, — они окрашены

¹ Предисловие было написано в связи с публикацией III главы поэмы. — *Ред.*

слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр: они написаны на наших собственных лицах.

Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы?

1910 год — это смерть Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Коммиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий — вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность — мудрая человечность.

Далее, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был чело-

век — но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то «первозданный Адам».

Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые выросло сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, повидимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также — в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею.

Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения. Ясно стал слышен северный жесткий голос Стриндберга, которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной 1911 года П. Н. Милюков прочел интереснейшую лекцию под заглавием

«Вооруженный мир и сокращение вооружений». В одной из московских газет появилась пророческая статья: «Близость большой войны». В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом этого года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих, в Средиземном море — разыгрался знаменательный эпизод «Пантера — Агадир».

Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет французской борьбы в петербургских цирках; тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней; среди борцов были истинные художники; я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты.

В этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация; — все мы помним ряд красивых воздушных петель, поле-

тов вниз головой, — падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов.

Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получениивичьих в руки департамента полиции.

Все эти факты, казалось бы столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор.

Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время.

Тогда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием «Возмездие». Ее план представлялся мне в виде концер-

трических кругов, которые становились всё уже и уже, и самый маленький круг, съжившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне рисовался — в сознание и на слова я это стараюсь перевести лишь сейчас; тогда это присутствовало преимущественно в сознании музыкальном и мускульном; о мускульном в сознании я говорю недаром, потому что в то время все движение и развитие поэмы для меня тесно соединилось с развитием мускульной системы. При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые — бицепсы, а потом уже — постепенно — более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея, и тема.

Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные от-

прыски всякого рода развиваются до положенного им предела, и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д.; ценою, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое время сияли, как лучшие алмазы в человеческой короне (как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и проч.).

Словом, мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искаленной. Был человек — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинается, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, сре-

ды, эпохи, — начинает в свою очередь творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него...

Что же дальше? Не знаю, и никогда не знал; могу сказать только, что вся эта концепция возникла под давлением все растущей во мне ненависти к различным теориям прогресса.

Такую идею я хотел воплотить в моих «Rougon-Macquart'ax» в малом масштабе, в коротком обрывке рода русского, живущего в условиях русской жизни: «Два-три звена, и уж видны заветы темной старины»... Путем катастроф и падений, мои «Rougon-Macquart'ы» постепенно освобождаются от русско-дворянского *éducation sentimentale*,¹ «уголь превращается в алмаз», Россия — в новую Америку; в новую, а не в старую Америку.

Поэма должна была состоять из пролога,

¹ Чувствительного воспитания. — *Ред.*

трех больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описанием событий мирового значения; они составляют ее фон.

Первая глава развивается в 70-х годах прошлого века, на фоне русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной либеральной семье; в эту семью является некий «демон», первая ласточка «индивидуализма», человек, похожий на Байрона, с какими-то нездешними порывами и стремлениями, притупленными однако болезнью века, начинающимся *fin de siècle*.¹

Вторая глава, действие которой развивается в конце XIX и начале XX века, так и не написанная, за исключением вступления, должна была быть посвящена сыну этого «демона», наследнику его мятежных порывов и болезненных падений, — бесчувственному сыну нашего века. Это — тоже лишь одно из звеньев длинного рода; от него тоже не останется, повидимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, кроме семени, кинутого им в страстную

¹ Концом века. — *Ред.*

и грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа.

В третьей главе описано, как кончил жизнь отец, что случилось с бывшим блестящим «демоном», в какую бездну упал этот яркий когда-то человек. Действие поэмы переносится из русской столицы, где оно до сих пор развивалось, в Варшаву — кажущуюся сначала «задворками России», а потом призванную, повидимому, играть некую мессианическую роль, связанную с судьбами забытой богом и истерзанной Польши. Тут, над свежей могилой отца, заканчивается развитие и жизненный путь сына, который уступает место собственному отпрыску, третьему звену все того же высоко взлетающего и низко падающего рода.

В эпилоге должен быть изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому неведомая и сама ни о чем не ведающая. Но она баюкает и кормит грудью сына, и сын растет; он начинает уже играть, он начинает повторять по складам вслед за матерью: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь

на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот».

Вот, повидимому, круг человеческой жизни, съевшийся до предела, последнее звено длинной цепи; тот круг, который сам, наконец, начнет топорщиться, давить на окружающую среду, на периферию; вот отпрыск рода, который, может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю.

Вся поэма должна сопровождаться определенным лейт-мотивом «возмездия»; этот лейт-мотив есть мазурка, танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. В первой главе этот танец легко доносится из окна какой-то петербургской квартиры — глухие 70-е годы; во второй главе танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор, подобный пене шампанского *fin de siècle*, знаменитой *veuve Clicquot*;¹

¹ Вдова Клико — название сорта шампанского вина. — *Ред.*

еще более глухие — цыганские, апухтинские годы; наконец, в третьей главе, мазурка разгулялась: она звенит в снежной выюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездия.

Июль 1919

ПРОЛОГ

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
10 Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, — поймешь, где тьма.
Пускай же всё пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Так Зигфрид правит меч над горном:
То в красный уголь обратит,
То быстро в воду погрузит —
20 И зашипит, и станет черным
Любимцу вверенный клинок...
Удар — он блещет, Нотунг верный,
И Миме, карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног!

Кто меч скует? — Не знавший страха,
А я беспомощен и слаб,
Как все, как вы, — лишь умный раб,
Из глины созданный и праха, —
И мир — он страшен для меня.
30 Герой уж не разит свободно, —
Его рука — в руке народной,
Стоит над миром столб огня,
И в каждом сердце, в мысли каждой —
Свой произвол и свой закон...
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
40 И пахнет гарью. Там — пожар.

Но песня — песнью всё пребудет.
В толпе всё кто-нибудь поет.
Вот — голову его на блюде
Царю плясунья подает;
Там — он на эшафоте черном
Слагает голову свою;
Здесь — именем клеймят позорным
Его стихи... И я пою, —
Но не за вами суд последний,
50 Не вам замкнуть мои уста!
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит; я до обедни
Пройду росистую между,
Ключ ржавый поверну в затворе

И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.

Ты, поразившая Денницу,
Благослови на здешний путь!
Позволь хоть малую страницу
Из книги жизни повернуть.
60 Дай мне неспешно и нежливо
Поведать пред Лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом — юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа.
Сыны отражены в отцах:
Коротенький отрывок рода —
70 Два-три звена, — и уж ясны
Заветы темной старины:
Созрела новая порода, —
Угль превращается в алмаз.
Он, под киркой трудолюбивой,
Восстав из недр неторопливо,
Предстанет — миру напоказ!
Так бей, не знай отдохновенья,
Пусть жила жизни глубока:
Алмаз горит издалека —
80 Дроби, мой гневный ямб, камня!

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий
Бескровных душ и слабых тел!
С тобой пришли чуме на смену
10 Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И мало действенных умов,
И дарований половинных
(Так справедливей — пополам!)
Век не салонов, а гостиных,
20 Не Рекамье, — а просто дам...
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!)
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...
А человек? — Он жил безвольно:

Не он — машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безбольно
Пытала дух, как никогда...
Но тот, кто двигал, управляя
30 Марионетками всех стран, —
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас:
Там — распри кровные решают
Дипломатическим умом,
Там — пушки новые мешают
40 Сойтись лицом к лицу с врагом,
Там — вместо храбрости — нахальство,
А вместо подвигов — «психоз»,
И вечно ссорится начальство,
И длинный громоздкóй обоз
Волочит за собой команда,
Штаб, интендантов, грязь кляня,
Рожком горниста — рог Роланда
И шлем — фуражкой заменя...
Тот век немало проклинали
50 И не устанут проклинать.
И как избыть его печали?
Он мягко стлал — да жестко спать...

Двадцатый век... еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).

Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
60 Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующей гибель день и ночь,
Сознание страшное обмена
Всех прежних малых дум и вер,
И первый валет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
70 И к ней безумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.
Что ж, человек? — За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
80 Открылись взору твоему?
О чем — машин немолчный скрежет?
Зачем — пропеллер, воя, режет
Туман холодный — и пустой?

Теперь — за мной, читатель мой,
В столицу севера большую,
На отдаленный финский брег!

Уж осень семьдесят восьмую
Дотягивает старый век,
В Европе спорится работа,
90 А здесь — попрежнему в болото
Глядит унылая заря...
Но в половине сентября
В тот год, смотри, как солнца много!
Куда народ валит с утра?
И до заставы всю дорогу
Горохом сыплется ура,
И Забалканский, и Сенная
Кишат полицией, толпой,
Крик, давка, ругань площадная...
100 За самой городской чертой,
Где светится золотоглавый
Новодевичий монастырь,
Заборы, бойни и пустырь
Перед Московскою заставой, —
Стена народу, тьма карет,
Пролетки, дрожки и коляски,
Султаны, кивера и каски,
Царица, двор и высший свет!
И пред растроганной царицей,
110 В осенней солнечной пыли,
Войска проходят вереницей
От рубежей чужой земли...
Идут, как будто бы с парада.
Иль не оставили следа
Недавний лагерь у Царьграда,
Чужой язык и города?
За ними — снежные Балканы,
Три Плевны, Шипка и Дубняк,

120 Незаживающие раны,
И хитрый, и неслабый враг...
Вон — павловцы, вон — гренадеры
По пыльной мостовой идут;
Их лица строги, груди серы,
Блестит Георгий там и тут,
Разрежены их батальоны,
Но уцелевшие в бою
Теперь под рваные знамена
Склонили голову свою...
Конец тяжелого похода,
130 Незабываемые дни!
Пришли на родину они,
Они — средь своего народа!
Чем встретит их родной народ?
Сегодня — прошлому забвенью,
Сегодня — тяжкие виденья
Войны — пусть ветер разнесет!
И в час торжественный возврата
Они забыли обо всем:
Забыли жизнь и смерть солдата
140 Под неприятельским огнем,
Ночей, для многих — без рассвета,
Холодную, немую твердь,
Подстерегающую где-то —
И настагающую смерть,
Болезнь, усталость, боль и голод,
Свист пуль, тоскливый вой ядра,
Зальдевших ложементов холод,
Негреющий огонь костра,
И даже — бремя вечной розни
150 Среди штабных и строевых,

И (может, горше всех других)
Забыли интендантов козни...
Иль не забыли, может быть? —
Их с хлебом-солью ждут подносы,
Им речи будут говорить,
На них — цветы и папиросы
Летят из окон всех домов...
Да, дело трудное их — свято!
Смотри: у каждого солдата
160 На штык надет букет цветов!
У батальонных командиров —
Цветы на седлах, чепраках,
В петлицах выпетших мундиров,
На конских челках и в руках...

Идут, идут... Едва к закату
Придут в казармы: кто — сменить
На ранах корпию и вату,
Кто — на вечер лететь, пленять
170 Красавиц, щеголять крестами,
Слова небрежные ронять,
Лениво шевеля усами
Перед униженным «штрюком»,
Играя новым темляком
На алой ленточке, — как дети...
Иль, в самом деле, люди эти
Так интересны и умны?
За что они вознесены
Так высоко, за что в них вера? —

В глазах любого офицера
180 Стоят видения войны.

На их, обычных прежде, лицах
Горят заемные огни.
Чужая жизнь свои страницы
Перевернула им. Они
Все крещены огнем и делом;
Их речи об одном твердят:
Как Белый Генерал на белом
Коня, средь вражеских гранат,
Стоял, как призрак невредимый,
190 Шутя спокойно над огнем;
Как красный столб огня и дыма
Взвился над Горным Дубняком;
О том, как полковое знамя
Из рук убитый не пускал;
Как пушку горными тропами
Тащить полковник помогал;
Как царский конь, храпя, запнулся
Пред искалеченным штыком,
200 Царь посмотрел и отвернулся,
И заслонил глаза платком...
Да, им известны боль и голод
С простым солдатом наравне...
Того, кто была на войне,
Порой пронизывает холод —
То роковое всё равно,
Которое подготавливает
Чреду событий мировых
Лишь тем одним, что не мешает...
210 Всё отразится на таких
Полубезумною насмешкой...
И власть торопится скорей

Всех тех, кто перестал быть пешкой,
В тур превращать, или в коней...
А нам, читатель, не пристало
Считать коней и тур никак,
С тобой нас нынче затесало
В толпу глазующих зевак,
Нас вовсе ликованье это
Заставило забыть вчера...
220 У нас в глазах пестрит от света,
У нас в ушах гремит ура!
И многие, забывшись слишком,
Ногами штатскими пылят,
Подобно уличным мальчишкам,
Близ марширующих солдат,
И этот чувств прилив мгновенный
Здесь — в петербургском сентябре!
Смотри: глава семьи почтенный
Сидит верхом на фонаре!
230 Его давно супруга кличет,
Напрасной ярости полна,
И, чтоб услышал, зонтик тычет,
Куда не след, ему она.
Но он и этого не чует
И, несмотря на общий смех,
Сидит, и в ус себе не дует,
Каналья, видит лучше всех!..
Прошли... В ушах лишь стонет эхо,
А всё — не разогнать толпу;
240 Уж с бочкой водовоз проехал,
Оставив мокрую тропу,
И ванька, гумбу огибая,

Напер на барыню — орет
Уже по этому случаю
Бегущий подсобить народ
(Городовой — свистки дает)...

250 Проследовали экипажи,
В казармах сыграна зоря, —
И сам отец семейства даже
Полез послушно с фонаря,
Но, расходясь, все ждут чего-то...
Да, нынче, в день возврата их,
Вся жизнь в столице, как пехота,
Гремит по камню мостовых,
Идет, идет — нелепым строем,
Великолепна и шумна...

Пройдет одно — придет другое,
Вглядишься — уже не та она,
И той, мелькнувшей, нет возврата,
260 Ты в ней — как в старой старине...
Замедлил бледный луч заката
В высоком, невзначай, окне.
Ты мог бы в том окне заметить
За рамой — бледные черты,
Ты мог бы некий знак заметить,
Которого не знаешь ты,
Но ты проходишь — и не взглянешь,
Встречаешь — и не узнаешь,
Ты за другими в сумрак канешь,
270 Ты за толпой вослед пройдешь.
Ступай, прохожий, без вниманья,
Свой ус лениво теребя,

Пусть встречный человек и зданье —
Как все другие — для тебя.
Ты занят всякими делами,
Тебе, конечно, невдомек,
Что вот за этими стенами
И твой скрываться может рок...
(Но, если б ты умом раскинул,
280 Забыв жену и самовар,
Со страху ты бы рот разинул
И сел бы прямо на троттуар!)

Смеркается. Спустились шторы.
Набита комната людьми,
И за прикрытыми дверьми
Идут глухие разговоры,
И эта сдержанная речь
Полна заботы и печали.
Огня еще не зажигали
290 И вовсе не спешат зажечь.
В вечернем мраке тонут лица,
Вглядишься — увидишь ряд один
Теней неясных, вереницу
Каких-то женщин и мужчин.
Собрание не многоречиво,
И каждый гость, входящий в дверь,
Упорным взглядом молчаливо
Осматривается, как зверь.
Вот кто-то вспыхнул папироской:
Средь прочих — женщина сидит:
Большой ребячий лоб не скрыт
Простой и скромною прической,

Широкий белый воротник
И платье черное — всё просто,
Худая, маленького роста,
Голубоокий детский лик,
Но, как бы что найдя за далью,
Глядит внимательно, в упор,
И этот милый, нежный взор

310 Горит отвагой и печалью...
Кого-то ждут... Гремит звонок.
Неспешно отворяя двери,
Гость новый входит на порог:
В своих движениях уверен
И степен; мужественный вид;
Одет совсем, как иностранец,
Изысканно; в руке блестят
Высокого цилиндра глянец;
Едва приметно затемнен
320 Взгляд карих глаз сурово-кроткий;
Наполеоновской бородкой
Рот беспокойный обрамлен;
Большеголовый, темновласый —
Красавец вместе и урод:
Тревожный передернут рот
Меланхолической гримасой.

И сонм собравшихся затих...
Два слова, два рукопожатья —
И гость к ребенку в черном платье
330 Идет, минуя остальных...
Он смотрит долго и любовно,
И крепко руку жмет не раз,

И молвит: — «Поздравляю вас
— С побегом, Соня... Софья Львовна!
— Опять — на смертную борьбу!»
И вдруг — без видимой причины —
На этом странно-белом лбу
Легли глубоко две морщины...

Заря погасла. И мужчины
340 Вливают в чашу ром с вином,
И пламя синим огоньком
Под полной чашей побежало.
Над ней кладут крестом кинжалы
Вот пламя ширится — и вдруг,
Взбежав над жженкой, задрожало
В глазах столпившихся вокруг...
Огонь, борясь с толпою мраков,
Лилово-синий свет бросал,
Старинной песни гайдамаков
350 Напев согласный зазвучал,
Как будто — свадьба, новоселье,
Как будто — всех не ждет гроза, —
Такое детское веселье
Зажгло суровые глаза...

Прошло одно — идет другое,
Проходит пестрый ряд картин.
Не замедляй, художник: вдвое
Заплатишь ты за миг один
360 Чувствительного промедленья,
И, если в этот миг тебя
Грозит покинуть вдохновенье, —

Пеняй на самого себя!
Тебе единым на потребу
Да будет — пристальность твоя.

370 В те дни под петербургским небом
Живет дворянская семья.
Дворяне — все родня друг другу,
И приучили их века
Глядеть в лицо другому кругу
380 Всегда немного свысока.
Но власть тихонько ускользала
Из их изящных белых рук,
И записались в либералы
Честнейшие из царских слуг,
А всё в брезгливости природной,
Меж волей царской и народной,
Они испытывали боль
Нередко от обеих воль.
390 Всё это может показаться
Смешным и устарелым нам,
Но, право, может только хам
Над русской жизнью издеваться.
Она всегда — меж двух огней,
Не всякий может стать героем,
И люди лучшие — не скроем —
Бессильны часто перед ней,
Так неожиданно сурова
И вечных перемен полна;
Как вешняя река, она
400 Внезапно тронуться готова,
На льдины льдины громоздить
И на пути своем крушить

Виновных, как и невиновных,
И нечиновных, как чиновных...

Так было и с моей семьей:
В ней старина еще дышала
И жить по новому мешала,
Вознаграждая тишиной
400 И благородством запоздалым
(Не так в нем вовсе толку мало,
Как думать принято теперь,
Когда в любом семействе дверь
Открыта настезь зимней выюге,
И ни малейшего труда
Не стоит изменить супруге,
Как муж, лишившейся стыда).
И нигилизм здесь был беззлобен,
И дух естественных наук
(Властей ввергающий в испуг)
410 Здесь был религии подобен.
«Семейство — вздор, семейство — блажь»,
Любили здесь примолвить гневно,
А в глубине души — всё та ж
«Княгиня Марья Алексевна»...
Живая память старины
Должна была дружить с неверьем —
И были все часы полны
Каким-то новым «двоеверьем»,
И заколдован был сей круг:
420 Свои словечки и привычки,
Над всем чужим — всегда кавычки,
И даже иногда — испуг;
А жизнь меж тем кругом менялась,

И зашаталось всё кругом,
И ветром новое врывалось
В гостеприимный старый дом:
То нигилист в косоворотке
Придет и нагло спросит водки,
Чтоб возмутить семьи покой
430 (В том видя долг гражданский свой).
А то — и гость весьма чиновный
Вбежит совсем не хладнокровно
С «Народной Волею» в руках —
Советоваться впопыхах,
Чтоб неурядиц всех причиной?
Чтоб предпринять пред «годовщиной»?
Как урезонить молодежь,
Опять поднявшую галдеж? —
440 Всем ведомо, что в доме этом
И обласкают, и поймут,
И благородным мягким светом
Всё осветят и обольют...

Жизнь старших близится к закату.
(Что ж, как полудня ни жалей,
Не остановишь ты с полей
Ползущий дым голубоватый).
Глава семьи — сороковых
450 Годов соратник; он поныне,
В числе людей передовых,
Хранит гражданские святыни,
Он с николаевских времен
Стоит на страже просвещения,
Но в буднях нового движенья
Немного заплутался он...

Тургеневская безмятежность
Ему сродни; еще вполне
Он понимает толк в вине,
В еде ценить умеет нежность;
460 Язык французский и Париж
Ему своих, пожалуй, ближе
(Как всей Европе: поглядишь —
И немец грезит о Париже),
И — ярый западник во всем —
В душе он — старый барин русский,
И убеждений склад французский
Со многим не мирится в нем;
Он на обедах у Бореля
Брюжит не плоше Щедрина:
470 То — не доварены форели,
А то — уха им не жирна.
Таков закон судьбы железной:
Нежданный, как цветок над бездной,
Очаг семейный и уют...

В семье нечопорно растут
Три дочки: старшая — томится
И над кипсэком мужа ждет,
480 Второй — всегда не лень учиться,
Меньшая — скачет и поет,
Велит ей нрав живой и страстный
Дразнить в гимназии подруг
И косоплеткой ярко-красной
Вводит начальницу в испуг...
Вот подросли; их в гости водят,
В карете возят их на бал;
Уж кто-то возле окон ходит,

Меньшой записку подослал
Какой-то юнкер шаловливый —
И первых слез так сладок пыл,
А старшей — чинной и стыдливой —
490 Внезапно руку предложил
Вихрастый идеальный малый;
Ее готовят под венец...
«Смотри, он дочку любит мало», —
Ворчит и хмурится отец,
«Смотри, не нашего он круга»...
И втайне с ним согласна мать,
Но ревность к дочке друг от друга
Они стараются скрывать...
Торопит мать наряд венчальный,
500 Приданое поспешно шьют,
И на обряд (обряд печальный)
Знакомых и родных зовут...
Жених — противник всех обрядов
(Когда «страдает так народ»).
Невеста — точно тех же взглядов:
Она — с ним об руку пойдет,
Чтоб вместе бросить луч прекрасный,
«Луч света в царство тьмы»
(И лишь венчаться несогласна
510 Без флер д'оранжа и фаты).
Вот — с мыслью о гражданском браке,
С челом мрачнее сентября,
Нечесанный, в нескладном фраке
Он предстоит у алтаря,
Вступая в брак «принципиально», —
Сей новоявленный жених.
Священник старый, либеральный,

520 Рукой дрожащей крестит их,
Ему, как жениху, невнятны
Произносимые слова,
А у невесты — голова
Кружится; розовые пятна
Пылают на ее щеках,
И слезы тают на глазах...

Пройдет неловкая минута —
Они воротятся в семью,
И жизнь, при помощи уюта,
В свою вернется колею;
Им рано в жизнь; еще не скоро
530 Здоровым горбиться плечам;
Не скоро из ребячьих споров
С товарищами по ночам
Он выйдет, честный, на соломе
В мечтах почиющий жених...
В гостеприимном добром доме
Найдется комната для них,
А разрушение уклада
Ему, пожалуй, не к лицу:
Семейство просто будет радо
540 Ему, как новому жильцу.
Всё обойдется понемногу:
Конечно, младшей понутру
Народницей и недотрогой
Дразнить замужнюю сестру,
Второй — краснеть и заступаться,
Сестру резоня и уча,
А старшей — томно забываться,
Склонясь у мужнина плеча;

550 Муж в это время спорит втуне,
Вступая в разговор с отцом
О социализме, о коммуне,
О том, что некто — «подлецом»
Отныне должен называться
За то, что совершил донос...
И вечно будет разрешаться
«Проклятый и больной вопрос»...

Нет, вешний лед круша, не смоев
Их жизни быстрая река:
Она оставит на покое
560 И юношу, и старика —
Смотреть, как будет лед носиться,
И как ломаться будет лед,
И им обоим будет сниться,
Что их «народ зовет вперед»...
Но эти детские химеры
Не помешают наконец
Кой-как приобрести манеры
(От этого непрочь отец),
Косоворотку на манишку
570 Сменить, на службу поступить,
Произвести на свет мальчишку,
Жену законную любить,
И, на посту не стоя «славном»,
Прекрасно исполнять свой долг
И быть чиновником исправным,
Без взяток видя в службе толк...
Да, этим в жизнь — до смерти рано:
Они похожи на ребят:
Пока не крикнет мать, — шалят;

580 Они — «не моего романа»:
Им — всё учиться, да болтать,
Да услаждать себя мечтами,
Но им навеки не понять
Тех, с обреченными глазами:
Другая сталь, другая кровь —
Иная (жалкая) любовь...

Так жизнь текла в семье. Качали
Их волны. Вешняя река
Неслась — темна и широка,
590 И льдины грозно нависали,
И вдруг, помедлив, огибали
Сию старинную ладью...
Но скоро прббил час туманный —
И в нашу дружную семью
Явился незнакомец странный.

Встань, выйди поутру на луг:
На бледном небе ястреб кружит,
Чертя за кругом плавный круг,
Высматривая, где похуже
600 Гнездо припрятано в кустах...
Вдруг — птичий щебет и движение...
Он слушает... еще мгновенье —
Слетает на прямых крылах...
Тревожный крик из гнезд соседних,
Печальный писк птенцов последних,
Пух нежный пó ветру летит —
Он жертву бедную когтит...
И вновь, взмахнув крылом огромным,
Взлетел — чертить за кругом круг,

610 Несытым оком и бездомным
Осматривать пустынный луг...
Когда ни взглянешь, — кружит, кружит...

Россия-мать, как птица, тужит
О детях; но — ее судьба,
Чтоб их терзали ястреба.

На вечерах у Анны Вревской
Был общества отборный цвет.
Больной и грустный Достоевский
Ходил сюда на склоне лет
620 Суровой жизни скрасить бремя,
Набраться сведений и сил
Для «Дневника». (Он в это время
С Победоносцевым дружил).
С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.
Какой-то экс-министр смиренно
Здесь исповедывал грехи.
И ректор университета
Бывал ботаник здесь Бекетов,
630 И многие профессора,
И слуги кисти и пера,
И также — слуги царской власти,
И недруги ее отчасти,
Ну, словом, можно встретить здесь
Различных состояний смесь.
В салоне этом без утайки,
Под обаянием хозяйки,
Славянофил и либерал
Взаимно руку пожимал

640 (Как, впрочем, водится издавна
У нас, в России православной:
Всем, слава богу, руку жмут).
И всех — не столько разговором,
Сколь оживленностью и взором, —
Хозяйка в несколько минут
К себе привлечь могла на диво.
Она, действительно, слыла
Обворожительно-красивой,
И вместе — добрая была.
650 Кто с Анной Павловной был связан —
Всяк помянет ее добром.
(Пока еще молчать обязан
Язык писателей о том).
Вмещал немало молодежи
Ее общественный салон:
Иные — в убежденьях схожи,
Тот — попросту в нее влюблен,
Иной — с конспиративным делом...
И всем нужна она была,
660 Все приходили к ней, — и смело
Она участие брала
Во всех вопросах без изъятья,
Как и в опасных предприятиях... —
К ней также из семьи моей
Всех трех возили дочерей.

Средь пожилых людей и чинных,
Среди зеленых и невинных —
В салоне Вревской был, как свой,
Один ученый молодой.
670 Непринужденный гость, привычный, —

Он был со многими на «ты».
Его отмечены черты
Печатью не совсем обычной.
Раз (он гостиной проходил)
Его заметил Достоевский.
— «Кто сей красавец?» — он спросил
Негромко, наклонившись к Вревской:
— «Похож на Байрона». — Слово
Крылатое все подхватили,
И все на новое лицо
680 Свое вниманье обратили.
На сей раз милостив был свет,
Обыкновенно — столь упрямый.
«Красив, умен», — твердили дамы,
Мужчины морщились: «поэт»...
Но, если морщатся мужчины,
Должно быть, зависть их берет...
А чувств прекрасной половины
Никто, сам чорт, не разберет...
690 И дамы были в восхищеньи:
«Он — Байрон, значит — демон»... —
Что ж?
Он впрямь был с гордым лордом
схож
Лица надменным выраженьем
И чем-то, что хочу назвать
Тяжелым пламенем печали...
(Вообще, в нем странность замечали —
И всем хотелось замечать).
Пожалуй, не было, к несчастью,
В нем только воли этой... Он
700 Одной какой-то тайной страстью,

Должно быть, с лордом был сравнен:
Потомок поздний поколений,
В которых жил мятежный пыл
Нечеловеческих стремлений, —
На Байрона он походил,
Как брат болезненный на брата
Здорового порой похож:
Тот самый отсвет красноватый,
И выраженья власти то ж,
И то же порыванье к бездне.
710 Но — тайно околдован дух
Усталым холодом болезни,
И пламень действенный потух,
И воли бешеной усьля
Отягчены сознанием.

Так —
Вращает хищник мутный зрак,
Больные расправляя крылья.
«Как интересен, как умен», —
За общим хором повторяет
720 Меньшая дочь. И уступает
Отец. И в дом к ним приглашен
Наш новоявленный Байрон.
И приглашенья принимает.

В семействе принят, как родной,
Красивый юноша. Вначале
В старинном доме над Невою
Его, как гостя, привечали,
Но скоро стариков привлек
Его дворянский склад старинный,

730 Обычай вежливый и чинный:
Хотя свободен и широк
Был новый лорд в своих воззрениях,
Но вежливость он соблюдал
И дамам ручки целовал
Он без малейшего презренья.
Его блестящему уму
Противоречия прощали,
Противоречий этих тьму
По доброте не замечали,
740 Их затмевал галанта блеск,
В глазах какое-то горенье...
(Ты слышишь сбитых крыльев треск? —
То хищник напрыгает зренье...)
С людьми его еще тогда
Улыбка юности роднила,
Еще в те ранние года
Играть легко и можно было...
Он тьмы своей не ведал сам...

Он в доме запросто обедал
750 И часто всех по вечерам
Живой и пламенной беседой
Пленял. (Хоть он юристом был,
Но поэтическим примером
Не брезговал: Констан дружил
В нем с Пушкиным, и Штейн —
с Флобером).

Свобода, право, идеал —
Всё было для него не шуткой,
Ему лишь было втайне жутко:
Он, утверждая, отрицал

И утверждал он, отрицая
760 (Всё б — в крайностях бродить уму —
А середина золотая
Всё не давалась ему!)
Он ненавистное — любовью
Искал порою окружить,
Как будто труп хотел налить
Живой играющей кровью...
«Талант», — твердили все вокруг, —
Но, не гордясь (не уступая),
770 Он странно омрачался вдруг...
Душа больная, но молодая,
Страшась себя (она права),
Искала утешенья: чужды
Ей становились все слова...
(О, пыль словесная! Что нужды
В тебе? — Утешишь ты едва ль,
Едва ли разрешишь ты муки!) —
И на покорную рояль
Властительно ложились руки,
Срывая звуки, как цветы,
780 Безумно, дерзостно и смело,
Как женских тряпок лоскуты
С готового отдаться тела...
Прядь упала на чело...
Он сотрясался в тайной дрожи...
(Всё, всё — как в час, когда на ложе
Двоих желание спелое...)
И там — за бурей музыкальной —
Вдруг возникал (как и тогда)
790 Какой-то образ — грустный, дальний,
Непостижимый никогда...

И крылья белые в лазури,
И неземная тишина...
Но эта тихая струна
Тонула в музыкальной буре...

800 Что ж стало? — Всё, что быть должно:
Рукопожатья, разговоры,
Потупленные долу взоры...
Грядущее отделено
Едва приметною чертою
От настоящего... Он стал
Своим в семье. Он красотою
Меньшую дочь очаровал.
И царство (царством не владея)
Он обещал ей. И ему
Она поверила, бледнея...
И дом ее родной в тюрьму
Он превратил (хотя нимало
С тюрьмой не сходствовал сей дом...)
810 Но чуждо, пусто, дико стало
Всё, прежде милое, кругом —
Под этим странным обаяньем
Сулящих новое речей,
Под этим демонским мерцаньем
Сверлящих пламенем очей...
Он — жизнь, он — счастье, он — стихия,
Она нашла героя в нем, —
И вся семья, и все родные
Претят, мешают ей во всем,
820 И всё ее волненье множит...
Она не ведает сама,
Что уж кокетничать не может,

Она — почти сошла с ума...
А он? —

Он медлит; сам не знает,
Зачем он медлит, для чего?
И ведь нимало не прельщает
Армейский демонизм его...
Нет, мой герой довольно тонок
И прозорлив, чтобы не знать,
830 Как бедный мучится ребенок,
Что счастье ребенка дать —
Теперь — в его единой власти...
Нет, нет... но замерли в груди
Доселе пламенные страсти,
И кто-то шепчет: погоди...
То — ум холодный, ум жестокий
Вступил в неожиданные права...
То — муку жизни одинокой
Предугадала голова...
840 «Нет, он не любит, он играет», —
Твердит она, судьбу кляня:
«За что терзает и пугает
«Он беззащитную, меня...
«Он объяснения не торопит,
«Как будто сам чего-то ждет...»
(Смотри: так хищник силы вопит:
Сейчас — большим крылом взмахнет,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь
850 Уже от ужаса — безумной,
Дрожащей жертвы...) — Вот — любовь
Того вампирственного века,

Который превратил в калек
Достойных званья человека!

Будь трижды проклят, жалкий век!

Другой жених на этом месте
Давно отряс бы прах от ног,
Но мой герой был сличком честен
И обмануть ее не мог:

860 Он не гордился нравом странным,
И было знать ему дано,
Что демоном и дон-Жуаном
В тот век вести себя — смешно...
Он много знал — себе на горе,
Слывя недаром «чудаком»
В том дружном человечьем хоре,
Который часто мы зовем
(Промеж себя) — бараньим стадом...

870 Но — «глас народа — божий глас»,
И это чаще помнить надо,
Хотя бы, например, сейчас:
Когда б он был глупей немного
(Его ль, однако, в том вина?), —
Быть может, лучшую дорогу
Себе избрать могла она,
И, может быть, с такою нежной
Дворянской девушкой связав
Свой рок холодный и мятежный, —
Герой мой был совсем не прав...

880 Но всё пошло неотвратимо
Своим путем. Уж лист, шурша,

Крутился. И неужеримо
У дома старилась душа.
Переговоры о Балканах
Уж дипломаты повели,
Войска пришли и спать легли,
Нева закуталась в туманах,
И штатские пошли дела,
И штатские пошли вопросы:
890 Аресты, обыски, доносы
И покушенья — без числа...
И книжной крысой настоящей
Мой Байрон стал средь этой мглы;
Он диссертацией блестящей
Стяжал отменные хвалы
И принял кафедру в Варшаве...
Готовясь лекции читать,
Запутанный в гражданском праве,
С душой, начавшей уставать —
900 Он скромно предложил ей руку,
Связал ее с своей судьбой,
И в даль увез ее с собой,
Уже питая в сердце скуку, —
Чтобы жена с ним до звезды
Делила книжные труды...

Прошло два года. Грянул взрыв
С Екатеринина канала,
Россию облаком покрыв.
Всё издалёка предвещало,
910 Что час свершится роковой,
Что выпадет такая карта...

И этот века час дневной —
Последний — назван *первым марта*.

В семье — печаль. Упразднена
Как будто часть ее большая:
Всех веселила дочь меньшая,
Но из семьи ушла она,
А жить — и путанно, и трудно:
То — над Россией дым стоит...
920 Отец, седея, в дым глядит...
Тоска! От дочки вести скудны...
Вдруг — возвращается она...
Что с ней? Как стан прозрачный тонок!
Худа, измучена, бледна,
И на руках лежит ребенок.

ВТОРАЯ ГЛАВА

<Вступление>

1

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
10 Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице нетрудно, —
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти...
Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный...
20 Колдун одной рукой кадил,
И струйкой синей и кудрявой

Курился росный ладан... Но —
Он клал другой рукой костлявой
Живые души под сукно.

II

В те незапамятные годы
Был Петербург еще грозней,
Хоть не тяжеле, не серей
Под крепостью катила воды
Необозримая Нева...
30 Штык светил, плакали куранты,
И те же барыни и франты
Летели здесь на острова.
И так же конь чуть слышным смехом
Коню навстречу отвечал,
И черный ус, мешаясь с мехом,
Глаза и губы щекотал...
Я помню, так и я, бывало,
Летал с тобой, забыв весь свет,
Но... право проку в этом нет,
40 Мой друг, и счастья в этом мало...

III

Востока страшная заря
В те годы чуть еще адела...
Чернь петербургская глазела
Подобострастно на царя...
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжелых горячил коней,

Городовые на панели
Сгоняли публику... «Ура» —
50 Заводит кто-то голосистый,
И царь — огромный, водянистый,
С семейством едет со двора...
Весна, но солнце светит глупо,
До Пасхи — целых семь недель,
А с крыш холодная капель
Уже за воротник мой тупо
Сползает, спину холодя...
Куда ни повернись, всё ветер...
«Как тошно жить на белом свете», —
60 Бормочешь, лужу обходя;
Собака под ноги суется,
Калоши сыщика блестят,
Вонь кислая с дворов несется,
И «князь» орет: «Халат, халат!»
И встретившись лицом с прохожим
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал...

IV

Но перед майскими ночами
70 Весь город погружался в сон,
И расширялся небосклон;
Огромный месяц за плечами
Таинственно румянил лик
Перед зарей необозримой...
О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?

Ты помнишь: выйдя ночью белой
Туда, где в море сфинкс глядит,
И на обтесанный гранит
80 Склонясь главой отяжелелой,
Ты слышать мог: вдали, вдали,
Как будто с моря, звук тревожный,
Для божьей тверди невозможный
И необычный для земли...
Провидел ты всю даль, как ангел
На шпиле крепостном; и вот —
(Сон, или явь): чудесный флот,
Широко развернувший фланги,
Внезапно заградил Неву...
90 И Сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате...
Так снилось многим наяву...
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
Да и народу не бывало
На площади в сей дивный миг.
(Один любовник запоздалый
100 Спешил, поднявши воротник)...
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день сиял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя девятым января...

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Отец лежит в «Аллее Роз»,¹
Уже с усталостью не споря,
А сына поезд мчит в мороз
От берегов родного моря...
Жандармы, рельсы, фонари,
Жаргон и пейсы вековые, —
И вот, в лучах больной зари
Задворки польские России...
Здесь всё, что было, всё, что есть,
10 Надут мстительной химерой;
Коперник сам лелеет мечь,
Склоняясь над пустою сферой...
«Мечь! Мечь!» — в холодном чугуне
Звенит, как эхо, над Варшавой:
То Пан-Мороз на злом коне
Бряцает шпорою кровавой...
Вот оттепель: блеснет живей
Край неба желтизной ленивой,
И очи панн чертят смелей
20 Свой круг ласкательный и льстивый...
Но всё, что в небе, на земле,
Попрежнему полно печалью...

¹ Улица в Варшаве. (Прим. Блока.)

Лишь рельс в Европу в мокрой мле
Поблескивает честной сталью.

Вокзал заплеванной; дома,
Коварно преданные вьюгам;
Мост через Вислу, как тюрьма;
Отец, сраженный злым недугом —
30 Всё внове баловню судьбы;
Ему и в этом мире скудном
Мечтается о чем-то чудном;
Он хочет в камне видеть хлеб,
Бессмертья знак — на смертном ложе,
За тусклым светом фонаря
Ему мерещится заря
Твоя, забывший Польшу, боже! —
Что здесь он с юностью своей?
О чем у ветра жадно просит? —
40 Забытый лист осенних дней,
Да пыль сухую ветер носит!
А ночь идет, ведя мороз,
Усталость, сонные желанья...
Как улиц гадостны названья!
Вот, наконец, «Аллея Роз»!.. —
Неповторимая минута:
Больница в сон погружена, —
Но в раме светлого окна
Стоит, оборотясь к кому-то,
Отец... и сын, едва дыша,
50 Глядит, глазам не доверяя...
Как будто в смутном сне душа
Его застыла молодая,
И злую мысль не отогнать:

«Он жив еще!.. В чужой Варшаве
«С ним разговаривать о праве,
«Юристов с ним критиковать!..»
Но всё — одной минуты дело:
Сын быстро ищет ворота
(Уже больница заперта),
60 Он за звонок берется смело
И входит... Лестница скрипит...
Усталый, грязный от дороги
Он по ступенькам вверх бежит
Без жалости и без тревоги...
Свеча мелькает... Господин
Загородил ему дорогу
И, всматриваясь, молвит строго:
«Вы — сын профессора?» — «Да, сын...»
Тогда (уже с любезной миной):
70 «Прошу вас. В пять он умер. Там...»

Отец в гробу был сух и прям.
Был нос прямой — а стал орлиный.
Был жалок этот смятый одр,
И в комнате, чужой и тесной,
Мертвец, собравшийся на смотр,
Спокойный, желтый, бессловесный...
«Он славно отдохнет теперь», —
Подумал сын, спокойным взглядом
Смотря в отворенную дверь...
80 (С ним кто-то неотлучно рядом
Глядел туда, где пламя свеч,
Под веяньем неосторожным
Склоняясь, озарит тревожно
Лик желтый, тупли, узость плеч, —

И, выпрямляясь, слабо чертит
Другие тени на стене...
А ночь стоит, стоит в окне...)
И мыслит сын: «Где ж праздник смерти?»
90 «Отцовский лик так странно тих...
«Где язвы дум, морщины муки,
«Страстей, отчаянья и скуки?»
«Иль смерть смела бесследно их?» —
Но все утомлены. Покойник
Сегодня может спать один.
Ушли родные. Только сын
Склонен над трупом... Как разбойник,
Он хочет осторожно снять
Кольцо с руки оцепенелой...
100 (Неопытному трудно смело
У мертвых пальцы разгибать).
И только преклонив колени
Над самой грудью мертвеца,
Увидел он, какие тени
Легли вдоль этого лица...
Когда же с непокорных пальцев
Кольцо скользнуло в жесткий гроб.
Сын окрестил отцовский лоб,
Прочтя на нем печать скитальцев,
Гонимых по миру судьбой...
110 Поправил руки, образ, свечи,
Взглянул на вскинутые плечи
И вышел, молвив: «Бог с тобой».

Да, сын любил тогда отца
Впервой — и, может быть, в последний,
Сквозь скуку панихид, обедней,

Сквозь пошлость жизни без конца...
Отец лежал не очень строго:
Торчал измятый клок волос;
Всё шире с тайною тревогой
120 Вскрывался глаз, сгибался нос;
Улыбка жалкая кривила
Неплотно сжатые уста...
Но разложенье — красота
Неизъяснимо победила...
Казалось, в этой красоте
Забыл он долгие обиды
И улыбался суете
Чужой военной панихиды...
130 А чернь старалась, как могла:
Над гробом говорили речи;
Цветками дама убрала
Его приподнятые плечи;
Потом на ребра гроба лег
Свинец полоскою бесспорной
(Чтоб он, воскреснув, встать не мог).
Потом, с печалью непритворной,
От паперти казенной прочь
Тащили гроб, давя друг друга...
Бесснежная визжала вьюга.
140 Злой день сменяла злая ночь.

По незнакомым площадям
Из города в пустое поле
Все шли за гробом по пятам...
Кладбище называлось: «Воля».
Да! Песнь о воле слышим мы,
Когда могильщик бьет лопатой

По глыбам глины желтоватой;
Когда откроют дверь тюрьмы;
Когда мы изменяем женам,
150 А жены — нам; когда, узнав
О поруганьи чьих-то прав,
Грозим министрам и законам
Из запертых на ключ квартир;
Когда проценты с капитала
Освободят от идеала;
Когда... — На кладбище был мир,
И впрямь пахнуло чем-то вольным:
Кончалась скука похорон,
Здесь радостный галдеж ворон
160 Сливался с гулом колокольным...
Как пусты ни были сердца,
Все знали: эта жизнь — сгорела...
И даже солнце поглядело
В могилу бедную отца.

Глядел и сын, найти пытаюсь
Хоть в желтой яме что-нибудь...
Но всё мелькало, расплываясь,
Слепя глаза, стесняя грудь...
Три дня, как три тяжелых года!
170 Он чувствовал, как стынет кровь...
Людская пошлость? Иль — погода?
Или — сыновняя любовь? —
Отец от первых лет сознанья
В душе ребенка оставляя
Тяжелые воспоминанья —
Отца он никогда не знал.
Они встречались лишь случайно,

Живя в различных городах,
180 Столь чуждые во всех путях
(Быть может, кроме самых тайных).
Отец ходил к нему, как гость,
Согбенный, с красными кругами
Вкруг глаз. За вялыми словами
Нередко шевелилась злость...
Внушал тоску и мысли злые
Его циничный, тяжкий ум,
Грязня туман сыновних дум
(А думы глупые, младые...)
И только добрый льстивый взор,
190 Бывало, упал украдкой
На сына, странную загадку
Врываясь в нудный разговор...
Сын помнит: в детской, на диване
Сидит отец, куря и злясь;
А он, безумно расшалаясь,
Вертится пред отцом в тумане...
Вдруг (злое, глупое дитя!) —
Как будто бес его толкает,
И он стремглав отцу вонзает
200 Булавку около локтя...
Растерян, побледнев от боли,
Тот дико вскрикнул...
Этот крик
С внезапной яркостью возник
Здесь, над могилою, на «Воле», —
И сын очнулся... Вьюги свист;
Толпа; могильщик холм ровняет;
Шуршит и бьется бурый лист...
И женщина навзрыд рыдает

Неудержимо и светло...
210 Никто с ней незнаком. Чело
Покрыто траурной фатою.
Что там? Небесной красотой
Оно сияет? Или — там
Лицо старухи некрасивой,
И слезы катятся лениво
По провалившимся щекам?
И не она ль тогда в больнице
Гроб вместе с сыном стерегла?...
Вот, не открыв лица, ушла...
220 Чужой народ кругом толпится...
И жаль отца, безмерно жаль:
Он тоже получил от детства
Флобера странное наследство —
Education sentimentale.¹

От панихид и от обедней
Избавлен сын; но в отчий дом
Идет он. Мы туда пойдем
За ним и бросим взгляд последний
На жизнь отца (чтобы уста
230 Поэтов не хвалили мира!)
Сын входит. Пасмурна, пуста
Сырая, темная квартира...
Привыкли чудаком считать
Отца — на то имели право:
На всем покоилась печать
Его тоскующего нрава;

¹ Чувствительное воспитание (заглавие романа Флобера). — *Ред.*

Он был профессор и декан;
Имел ученые заслуги;
Ходил в дешевый ресторан
240 Поестъ — и не держал прислуги;
По улице бежал бочком
Поспешно, точно пес голодный,
В шубенке никуда не годной
С потрепанным воротником;
И видели его сидевшим
На груди почернелых шпал;
Здесь он нередко отдыхал,
Вперяясь взглядом опустевшим
В прошедшее... Он «свел на нет»
250 Всё, что мы в жизни ценим строго:
Не освежалась много лет
Его убогая берлога;
На мебели, на грудах книг
Пыль стлалась серыми слоями;
Здесь в шубе он сидеть привык
И печку не топил годами;
Он всё берег и в кучу нес:
Бумажки, лоскутки материй,
Листочки, корки хлеба, перья,
260 Коробки из-под папирос,
Белья нестиранного груды,
Портреты, письма дам, родных,
И даже то, о чем в своих
Стихах рассказывать не буду...
И наконец — убогий свет
Варшавский падал на киты
И на повестки и отчеты
«Духовно-нравственных бесед»...

270 Так, с жизнью счет сводя печальный,
Презревши молодости пыл,
Сей Фауст, когда-то радикальный,
«Правел», слабел... и всё забыл;
Ведь жизнь уже не жгла — чадила,
И однозвучны стали в ней
Слова: «свобода» и «еврей»...
Лишь музыка — одна будила
Отяжелевшую мечту:
Брюзжащие смолкали речи;
Хлам превращался в красоту;
280 Прямилась сгорбленные плечи;
С неожиданной силой пел рояль,
Будя неслыханные звуки:
Проклятия страстей и скуки,
Стыд, горе, светлую печаль...
И наконец — чахотку злую
Своею волей нажил он,
И слег в лечебницу плохую
Сей современный Гарпагон...

290 Так жил отец: скупцом, забытым
Людьми, и богом, и собой,
Иль псом бездомным и забитым
В жестокой давке городской.
А сам... Он знал иных мгновений
Незабываемую власть!
Недаром в скуку, смрад и страсть
Его души — какой-то гений
Печальный залетал порой;
И Шумана будили звуки
Его озлобленные руки,

300 Он ведал холод за спиной...
И, может быть, в преданьях темных
Его слепой души, впотьмах —
Хранилась память глаз огромных
И крыл, изломанных в горах...
В ком смутно брезжит память эта,
Тот странен и с людьми не схож:
Всю жизнь его — уже поэта
Священная объемлет дрожь,
Бывает глух, и слеп, и нем он,
310 В нем почивает некий бог,
Его опустошает Демон,
Над коим Врубель изнемог...
Его прозрения глубоки,
Но их глушит ночная тьма,
И в снах холодных и жестоких
Он видит «Горе от ума».

320 Страна — под бременем обид,
Под игом наглого насилья —
Как ангел, опускает крылья,
Как женщина, теряет стыд.
Безмолвствует народный гений,
И голоса не подает,
Не в силах сбросить ига лени
В полях затерянный народ.
И лишь о сыне, ренегате,
Всю ночь безумно плачет мать,
Да шлет отец врагу проклятье
(Ведь старым нечего терять!..)
А сын — он изменил отчизне!
330 Он жадно пьет с врагом вино,

И ветер ломится в окно,
Взывая к совести и к жизни...

Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляков,
Дремать принудила орава
Военных русских пошляков?
Жизнь глухо кроется в подпольи,
Молчат магнатские дворцы,
Лишь Пан-Мороз во все концы
340 Свирепо рыщет на раздольи!
Неистово взлетит над вами
Его седая голова,
Иль откидные рукава
Взметутся бурей над домами,
Иль конь заржет — и звоном струи
Ответит телеграфный провод,
Иль вздернет Пан взбешенный повод,
И четко повторит чугун
Удары мерзлого копыта
350 По опустелой мостовой...
И вновь, поникнув головой,
Безмолвен Пан, тоской убитый...
И, странствуя на злом коне,
Бряцает шпорою кровавой...
Мсть! Мсть! — Так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне!

Еще светлы кафэ и бары,
Торгует телом «Новый Свет»,
Кишат бесстыдные троттуары,
360 Но в переулках — жизни нет,

Там тьма и вьюги завыванье...
Вот небо сжалилось — и снег
Глушит трескучей жизни бег,
Несет свое очарованье...
Он вьется, стелется, шуршит,
Он — тихий, вечный и старинный...
Герой мой милый и невинный,
Он и тебя запорошит,
Пока бесцельно и тоскливо,
370 Едва похоронив отца,
Ты бродишь, бродишь без конца
В толпе больной и похотливой...
Уже ни чувств, ни мыслей нет,
В пустых зеницах нет сиянья,
Как будто сердце от скитанья
Состарилось на десять лет...
Вот робкий свет фонарь роняет...
Как женщина, из-за угла
Вот кто-то ластиво подползает...
380 Вот — подольстилась, подползла,
И сердце торопливо сжала
Невыразимая тоска,
Как бы тяжелая рука
К земле пригнула и прижала...
И он уж не один идет,
А точно с кем-то новым вместе...
Вот быстро под гору ведет
Его «Краковское Предместье»;
Вот Висла — снежной бури ад...
390 Ища защиты за домами,
Стуча от холода зубами,
Он повернул опять назад...

Опять над сферою Коперник
Под снегом в думу погружен...
(А рядом — друи или соперник —
Идет тоска...) Направо он
Поворотил — немного в гору...
На миг скользнул ослепший взор
По православному собору...
400 (Какой-то очень важный вор,
Его построив, не достроил...)
Герой мой быстро шаг удвоил,
Но скоро изнемог опять —
Он начинал уже дрожать
Непобедимой мелкой дрожью
(В ней всё мучительно спелось:
Тоска, усталость и мороз...)
Уже часы по бездорожью
По снежному скитался он
410 Без сна, без отдыха, без цели...
Стихает злобный визг метели,
И на Варшаву сходит сон...
Куда ж еще итти? Нет мочи
Бродить по городу всю ночь. —
Теперь уж некому помочь!
Теперь он — в самом сердце ночи!
О, черен взор твой, ночи тьма,
И сердце каменное глухо,
Без сожаленья и без слуха,
420 Как те ослепшие дома!..
Лишь снег порхает — вечный, белый,
Зимой — он площадь оснежит,
И мертвое засыплет тело,
Весной — ручьями побежит...

Но в мыслях моего героя
Уже почти несвязный бред...
Идет... (По снегу вьется след
Один, но их, как было, двое...)
В ушах — какой-то смутный звон...
430 Вдруг — бесконечная ограда
Саксонского, должно быть, сада...
К ней тихо прислонился он.

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой, иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Всё, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
440 И тяжелит ресницы иней,
Тогда — остановись на миг
Послушать тишину ночную.
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушённым садом,
И небо — книгу между книг;
450 Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненный,
И в этот несравненный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —

Всё вспыхнет в сердце благодарном,
Ты всё благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем *quantum satis*¹ Бранда воли,
460 А мир — прекрасен, как всегда.

.

ДВЕНАДЦАТЬ

¹ В полную меру (лозунг Бранда, героя одноименной драмы Ибсена). — *Ред.*

Черный вечер.
 Белый снег.
 Ветер, ветер!
 На ногах не стоит человек.
 Ветер, ветер —
 На всем божьем свете!

Завивает ветер
 Белый снежок.
 Под снежком — ледок.
 Скользко, тяжело,
 Всякий ходок
 Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
 Протянут канат,
 На канате — плакат:
 «Вся власть Учредительному Собранию!»
 Старушка убивается — плачет,
 Никак не поймет, что значит,
 На что такой плакат,
 Такой огромный лоскут?
 Сколько бы вышло портянок для ребят,
 А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят
в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Витя...

А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Ужь мы плакали, плакали...

Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих кбсит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному
Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь —
двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

Хлеба!
Что впереди?
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Глади
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, прямят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке,
— У ей керёнки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

Как пошли наши ребята
 В красной гвардии служить —
 В красной гвардии служить —
 Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
 Сладкое житье!
 Рваное пальтишко,
 Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
 Мировой пожар раздуем,
 Мировой пожар в крови —
 Господи, благослови!

Снег крутит, лихач кричит,
 Ванька с Катью летит —
 Электрический фонарик
 На оглобелях...
 Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской,
 С физиономией дурацкой
 Крутит, крутит черный ус,
 Да покручивает,
 Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
 Вот так Ванька — он речист!
 Катю-дуру обнимает,
 Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
 Зубки блещут жемчугом...
 Ах, ты, Катя, моя Катя
 Толстоморденькая...

У тебя на шее, Катя,
 Шрам не зажил от ножа.
 У тебя под грудью, Катя,
 Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
 Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила —
 Походи-ка, походи!
 С офицерами блудила —
 Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
 Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
 Не ушел он от ножа...

Аль не вспомнила, холера!
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи.

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой! стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шею —
Не оправиться никак...

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?
Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту деву я любил...

Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох, ты горе-горькое
Скука скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полушу, полушу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городского —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жметя шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,

Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

11

..И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!

506

~~Вьюга - сугробы холодные
Кр еще там - выходи!~~
Только ~~в~~ ~~Ковыляет~~ ~~позади~~ ~~пес голодный,~~
~~Впереди - сугроб холодный,~~
~~Кто в сугробе - выходи!~~
~~Только нищий пес голодный~~
~~Ковыляет позади...~~
~~Кто еще там? выходи!~~
~~Это - ветер с красным флагом~~
~~Разыгрался впереди...~~
~~Впереди - сугроб холодный,~~
~~Кто в сугробе - выходи!..~~
~~Только нищий пес голодный~~
~~Ковыляет позади...~~
~~Отвяжись ты, шелудивый,~~
~~Я штыком пощекочу!~~
~~Старый мир, как пес паршивый,~~
~~Провались - поколочу!~~
~~...Скалит зубы - волк голодный -~~
~~Хвост поджал - не отстает -~~
~~Пес холодный - пес безродный...~~
~~— Эй, откликнись, кто идет?~~

Кто там машет красным флагом?
Кто еще там? выходи!

Кто там машет красным флагом?
Кто еще там? выходи!

Кто там машет красным флагом?
Кто еще там? выходи!

Кто там машет красным флагом?
Кто еще там? выходи!

Из черновиков поэмы «Двенадцать» (глава 12)

— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Всё равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах!

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Январь 1918

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание вошли избранные стихотворения Александра Блока и важнейшие его поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие» и «Двенадцать». Задача сборника — путем строгого отбора представить творчество Блока в его лучшей части. Критерием отбора произведений служили весомость содержания и художественное совершенство. Естественно поэтому, что Блок представлен в настоящем издании по преимуществу произведениями, созданными в пору его творческой зрелости.

При таком подходе невозможно было следовать принятому Блоком в его прижизненных изданиях распределению стихов по отделам и циклам: композиционная стройность и внутреннее органическое единство целостных отделов и циклов при этом неизбежно нарушились бы. Поэтому стихи Блока в настоящем сборнике впервые расположены в хронологической последовательности. Такое расположение имеет свою основательность и убедительность, паглядно демонстрируя идейно-творческую эволюцию, пережитую Блоком, развитие его поэтических тем и формирование его лирического стиля. Незначитель-

ные отступления от хронологии допущены лишь в цикле «Кармен» и в трех «малых» циклах («На поле Куликовом», «Через двенадцать лет» и «Пляски смерти»), нарушать неделимую структуру которых было бы решительно неправомерно.

Все произведения, вошедшие в сборник, печатаются в окончательных редакциях по тексту последних публикаций, корректуру которых правил Блок (в отдельных случаях — с поправками по автографам). Текст воспроизводится с сохранением некоторых особенностей орфографии и пунктуации Блока, на строгом соблюдении которых он настаивал со всей решительностью (он писал: «троттуар», применял в разных случаях различные начертания одного и того же слова, например: мятели и метели, желтый и желтый и т. д.). «Всякая моя грамматическая оплошность в стихах не случайна, — писал Блок, — за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать...».

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Я ношусь во мраке, в ледяной пустыне...» — Две последние строки приписаны в мае 1918 г.

Гамаюн, птица вещая. — Стихотворение внушено картиной В. М. Васнецова (Третьяковская галерея в Москве), изобра-

жающей Гамаюна — сказочную райскую птицу с человеческим лицом. *Трус* — землетрясение.

«За краткий сон, что нынче снится...» — Первоначальный текст обрабатывался в январе 1919 г.

«На небе зарево. Глухая ночь мертва...» — Блок указал, что в этом стихотворении отразилось одно из его впечатлений: деревья березовой рощи и облака, освещенные лучами заходящего солнца, напомнили ему картину средневекового города.

Ночь на Новый Год. — Отзвук баллады В. А. Жуковского «Светлана».

«Странных и новых ищущу на страницах...» — *Купина* — на церковном языке: куст; в библейской мифологии — *неопалимая купина*: куст, который горит и чудесным образом не сгорает.

«Я и молод, и свеж, и влюблен...» — В первой строке — отзвук стихов Я. П. Полонского, запомнившихся Блоку еще в раннем детстве:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят...

Фабрика. — В 1904 г. цензура запретила опубликовать это стихотворение.

Петр. — Блок указал, что стихотворение внушено памятником Петру I работы Фальконе («Медный всадник»).

«Поднимались из тьмы погребов...» — Геенна — ад.

Песня матросов. — Отрывок из неоконченной поэмы «Ее прибытие».

«Шли на приступ. Прямо в грудь...» — Отклик на «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Номер приложения к газете «Наша жизнь» от 26 ноября 1905 г., где появилось это стихотворение (вместе с двумя другими: «Барка жизни встала...» и «Вися над городом всемирным...»), был конфискован полицией.

«На весеннем пути в теремок...» — «Слово „талъ“ — старое русское. Оно встречалось еще в XVIII веке — у А. Т. Болотова» (примечание Блока).

Влюбленность. — По свидетельству Блока, стихотворение внушено старым замком немецкого городка Фридберга, описанию которого посвящена его статья «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1905). *Купина* — куст.

Балаганчик. — В связи с этим стихотворением у Блока возник замысел одноименной лирической драмы (1906).

«Вися над городом всемирным...» — Это стихотворение и следующее («Еще прекрасно серое небо...») написаны в день опубликования царского манифеста о введении «конституции», которую Блок воспринял как обман революционных чаяний народа. *Предок царственно-чугунный* — памятник Петру I («Медный всадник»). Ср. выше примечание к стихотворению «Шли на приступ. Прямо в грудь...»

Сытые. — Отклик на массовые забастовки в Петербурге в октябре 1905 г.; в частности, тогда бастовала столичная электростанция.

Сольвейг. — Блок указал, что драматической поэмой Генриха Ибсена «Пер Гюнт» «навеваны и женственный образ Сольвейг и другие образы этого стихотворения».

Незнакомка. — «Развитие темы этого стихотворения — в лирической драме того же имени» (примечание Блока). *Чуть золотится крендель булочной* — в дореволюционное время вывески булочных украшались золоченым изображением кренделя. *Лицеист* — учащийся лицея, одного из наиболее привилегированных учебных заведений в царской России.

Ангел-хранитель. — В стихе «За то, что хочу и не смею убить» цензура

усмотрела «возбуждение к тяжким и преступным деяниям»; июньская книжка журнала «Трудовой путь» за 1907 г., где появилось это стихотворение, была конфискована, а против редактора журнала было возбуждено уголовное преследование.

Русь. — В одном из изданий Блок снабдил это стихотворение примечанием: «„Мутный взор колдуна“, чарованье злаков, ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге, девушка, точащая под снегом лезвие ножа на изменившего милого — все это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний...»

Балаган. — Эпиграф взят из пьесы А. Дюма «Кин, или Гений и беспутство». Кин Эдмонд (1787—1833) — английский драматический актер, прославившийся в ролях шекспировского репертуара. Арлекин, Пьеро и Коломбина — традиционные персонажи итальянской народной комедии.

«Я ухо приложил к земле...» — В рукописи озаглавлено: «Рабочему». Дата этого стихотворения и следующего («Тропами тайными, ночными...») проясняет их конкретно-политический смысл: 3 июня 1907 г. царское правительство, объявив о роспуске 2-й Государственной Думы, перешло к открытой политике контрреволюционного террора.

«Тропами тайными, ночными...» — Придут замученные ими — о жертвах контрреволюционного террора. Их корабли в пучине водной... — отзвук Цусимского сражения. Первоначальная редакция 18-го стиха:

Рабочий сбросит с вольных плеч.

«Сырое лето. Я лежу...» — В черновике — вариант 11-го стиха: «То место в книжке Бебеля...», указывающий на то, что Блок имел в виду известную книгу немецкого социалиста Августа Бебеля (1840—1913) «Женщина и социализм».

Вольные мысли. — Сотка — водочная бутылка (в одну сотую ведра). Тальеры — женские костюмы. Фероньера — женское головное украшение.

Снежная Дева. — Сфинкс с выщербленным ликом — один из двух древних фиванских сфинксов, установленных в Ленинграде на набережной Невы.

Клеопатра. — В 1907 г. Блок часто посещал паноптикум (музей восковых фигур), где была выставлена фигура Клеопатры, снабженная особым механизмом, благодаря чему создавалось впечатление, будто она дышит. По преданию, Клеопатра покончила

с собой, приложив к груди ядовитую змею. Юлий Цезарь был влюблен в Клеопатру.

«Она пришла с мороза...» — «Макбет» — трагедия Шекспира, в которой встречаются стихи:

Земля, как и вода, содержит газы,
И это были пузыри земли...

В марте 1907 г. Блок писал о Шекспире в одном из писем: «Люблю его глубоко; и, может быть, глубже всего — во всей мировой литературе — Макбета». *Пáоло и Франческа* — несчастные любовники, жившие в Италии в XIII веке; их история рассказана в «Божественной Комедии» Данте.

«Май жестокий с белыми ночами!...» — В рукописи и в первой публикации озаглавлено: «Родине». В черновике имеются наброски продолжения:

И над этим плугом — все мечтанья,
И под этим плугом — вся земля,
И душа — как в первый миг свиданья,
И душа — как парус корабля.
И в руке — тяжелые дрожанья,
И над взрытым паром тишина,
И твои, твои очарованья,
Медленно сходящая Весна,
И далекий лепет, бормотанье,
Конницы тяжелой знамена,
И трубы военной завыванье...

На поле Куликовом. — Битва на Куликовом поле, в районе рек Дона и Непрядвы, происшедшая 8 сентября 1380 г. между войсками Мамая и Дмитрия Донского, закончилась решительной победой русских и сыграла важную роль в освобождении Руси от татарского ига. В одном из изданий Блок снабдил цикл «На поле Куликовом» следующим примечанием: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди». Символика Куликовской битвы занимает видное место в кругу мыслей Блока о судьбах России, о взаимоотношениях народа и интеллигенции и о грядущей революции (см. драму «Песня Судьбы», статью «Народ и интеллигенция» и др.).

Поэты. — Первоначальный набросок относится еще к 1903 г.

«Я пригвожден к трактирной стойке...» — К черновику этого стихотворения в записной книжке Блока непосредственно примыкает следующая запись — план дальнейших строф, проясняющий и расширяющий идейное содержание замысла: «И вот поднимается тихий занавес наших сомнений, противоречий, падений и безумств: слышите ли вы задыхающийся гон тройки?»

Видите ли ее, ныряющую по сугробам мертвой и пустынной равнины? Это — Россия летит неведомо куда — в сине-голубую пропасть времен — на разубранной своей и разукрашенной тройке. Видите ли вы ее звездные очи — с мольбою, обращенною к нам: — Полюби меня, полюби красоту мою! — Но нас от нее отделяет эта бесконечная даль времен, эта синяя морозная мгла, эта снежная, звездная сеть. — Кто же проберется навстречу летящей тройке тропами тайными и мудрыми, кротким словом остановит взмыленных коней, смелой рукою опрокинет демонского ямщика и...» (развитие этой темы — в публицистических статьях Блока: «Вопросы, вопросы и вопросы», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура» и «Дитя Гоголя»).

«Своими горькими слезами...» — *Развенчанная тень* — слова Пушкина (из стихотворения «Наполеон»).

«Не спят, не помнят, не торгуют...» — В рукописи озаглавлено: «Святая Пасха». Вместо первой строфы вначале было две следующих:

В тряпье покорности и веры
Ты хочешь скрыть хозяйский стыд?
Поверь: бесстыдству нету меры;
Не счесть бесчисленных обид

Стыдится ли хозяин ражий,
Когда рабы со всех сторон
И за убийства и за кражи
Ему дарят пасхальный звон?

Большие церковные праздники неизменно вызывали в Блоке чувство протеста и негодования. «Я только что отошел, — писал он матери в пасхальные дни 1908 г. — Эти два больших христианских праздника (Рождество и Пасха) все больше унижают меня; как будто в самом деле происходит что-то такое, чему я глубоко враждебен».

Равенна. — *Равенна* — древняя столица Западной Римской империи, в 493 г. была завоевана королем остготов *Теодорихом Великим* (454—526). *Базилики* — здесь: христианские храмы. В одном из изданий Блок снабдил «Равенну» обширными примечаниями, в которых писал, между прочим: «Плиты пола в подземельи под алтарем храма св. Аполлинария и в ротонде Теодориха Великого ушли в землю и постоянно покрыты водой; оттого низко стоящие мраморные саркофаги подергиваются нежной плесенью розовато-лилового и светлозеленого цвета». *Галла*, или *Плакида* — Галла Плацидия Августа, жена вестготского вождя Атаульфа, а позже — римского императора Констанция; она правила Западной Римской империей в середине V века. — В Равенне и в ее окрест-

ностях похоронены Теодорих Великий, Галла Плацидия и величайший поэт Италии — Данте Алигьери, автор «Божественной Комедии» и поэмы «Новая жизнь». — Далёко отступило море... — с древних времен Адриатическое море отступило от Равенны на 7 км.

Благовещение. — В рукописи — подзаголовок: «Итальянская картина». По свидетельству Блока, стихотворение было введено ему одной из фресок перуджийского художника Джанникола Манни; с его же фрески заимствован латинский текст, приведенный (с незначительными изменениями) в последней строфе. *Умбрия* — область Италии. *Гриф, когтящий тельца* — символ города Перуджия с древнейших времен. *Лишь художник, занавесью скрытый*... — см. следующее примечание.

Девушка из Spoleto. — *Сполето* — городок в Италии. К стиху: «*Лишь, как художник, смотрю за оградой*...» Блок сделал примечание, в котором писал: «Художники Возрождения любили изображать себя самих на своих картинах, в качестве свидетелей или участников. Одни — сладострастно подсматривают из-за занавески, как старцы за купающейся Сусанной; другие — только присутствуют в качестве равнодушных участников... В этом стихотворении, так же как в „Благовещении“, я хотел

представить художника третьего типа: созерцателя спокойного и свидетеля необходимого».

Венеция. — *Львиный столб* — памятник в Венеции. *Марк* — собор св. Марка в Венеции; иконостасом Блок назвал «единственный в мире» (по его словам) фасад этого собора. *Саломея* — имеется в виду библейская легенда о Саломее, потребовавшей у галилейского царя Ирода-Антипы, в награду за пляску, голову Иоанна-крестителя; на воспоминание об этой легенде Блока, возможно, натолкнула картина Карло Дольчи «Саломея с головой Иоанна-крестителя», которую он видел в Италии. *Дождь* — титул правителя Венецианской республики. *Канцона* — песня.

Перуджия. — *Перуджино* (1446—1524) — итальянский художник эпохи Возрождения.

«Флоренция, ты ирис нежный...» — *Кашины* — пригородный парк во Флоренции.

«Окна ложные на небе черном...» — Блок указал, что это стихотворение написано на мотив итальянской народной песни.

Madonna da Settignano. — «*Settignano*» — местечко в окрестностях Флоренции. Стихотворение это внушил мне бюст сине-

окой мадонны в желтом платке с цветочками, помещенный над местечком, в полугоре» (примечание Блока). *Тоскана* — область Италии.

Фьезоле. — *Фьезоле* — местечко вблизи Флоренции. *Кампанилы* — колокольни. *Бегато* — Фра-Джованни да Фьезоле (1387—1455) — итальянский художник, известный под именем Беато Фра-Анжелико.

«Искусство — ноша на плечах...» — В итальянском городке Фолиньо Блок случайно увидел в кинематографе французский фильм, который уже видел за год до того в Петербурге.

Через двенадцать лет. — Стихи этого цикла, написанные в основном в 1909 г. в Бад-Наугейме (Германия), посвящены воспоминанию о «первой любви», зародившейся там же в 1897 г. *Не знал я, что в лесу девичьем...* — *Девичий лес* — парк в Бад-Наугейме.

«Всё это было, было, было...» — *Дожи* — см. выше примечание к стих. «Венеция». *Калита* — московский князь Иван Данилович Калита (1328—1341).

Голоса скрипок. — Первые два стиха приводят на память слова И. С. Тургенева: «Луна уже встала на небосклоне, красная и широкая, как медный щит» («Новь», ч. I, гл. 10).

На смерть Комиссаржевской. — *Комиссаржевская Вера Федоровна* (1864—1910) — знаменитая драматическая актриса. 7 марта 1910 г. Блок прочитал это стихотворение на вечере памяти Комиссаржевской.

В ресторане. — *Au* — марка шампанского вина.

Демон. — Блок указал, что стихотворение это было написано под впечатлением смерти художника М. А. Врубеля (1856—1910) и содержит «намек» на «связь демонов Лермонтова и Врубеля».

На железной дороге. — Блок охарактеризовал это стихотворение как «бессознательное подражание эпизоду из «Воскресения» Толстого: Катюша Маслова на маленькой станции видит в окне вагона Нехлюдова в бархатном кресле ярко освещенного купе первого класса». *Молчали желтые и синие; в зеленых плакали и пели...* — в дореволюционное время вагоны I класса окрашивали в синий цвет, II класса — в желтый и III класса — в зеленый.

«В огне и холоде тревог...» — Первоначальный набросок — среди черновиков III главы поэмы «Возмездие».

«О, как смеялись вы над нами...» — Первоначально входило в III гла-

ву поэмы «Возмездие» (между стихами 224 и 225). Первоначальная редакция была гораздо пространнее:

Правдивы вы и без прикрас,
Стихи печальные поэмы! —
Да, нас немного. Помним все мы,
Как зло обманывали нас.
Мы, современные поэты,
О вас, от вас мы плачем вновь,
Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты!
Пусть будет прост и скуден храм,
Где небо кроют мглою бесы,
Где слышен хохот желтой прессы,
Жаргон газет и визг реклам,
Где под личиной провокаций
Скрывается больной цинизм,
Где торжествует нигилизм —
Бесполой спутник «стилизаций»,
Где «Новым временем» смердит,
Где хамство с каждым годом — пуще,
Где полновластны, вездесущи
Лишь офицер, жандарм...
Где память вечную Толстого
Стремится омрачить жена...
Прочь, прочь! — Душа жива — она
Полна предчувствием иного!
Поют подземные струи,
Мерцают трепетные светы...
Но помни Тютчева заветы:

«Молчи, скрывайся и тай
И чувства и мечты свои».

Заключительные строки — цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!»

«Да. Так диктует вдохновенье...» — Первоначально входило в III главу поэмы «Возмездие» (между стихами 288 и 289). В первый раз было напечатано под заглавием: «Современнику». В стихотворении отчасти отразились впечатления, вынесенные Блоком из заграничной поездки 1911 г.; в письме из Парижа он писал, между прочим: «В сожженных скверах — масса детей — бледных, с английской болезнью. Все лица — или приводящие в ужас (у буржуа), или хватающие за сердце напряженностью и измученностью».

«Земное сердце стынет в новье...» — Первоначально входило в III главу поэмы «Возмездие» (как заключение всей главы).

Авиатор. — Первоначальный набросок относится к 1910 г. В рукописи посвящено памяти летчика В. Ф. Смита, разбившегося на глазах у Блока 14 мая 1911 г. во время «авиационной недели», собиравшей множество пресыщенной буржуазной публики (ср. предисловие Блока к поэме «Возмездие» — стр. 428—429 наст. издания). Блок с весны 1910 г. был сильно увлечен успехами авиа-

зии. «В полетах людей, даже неудачных, есть что-то древнее и сужденное человечеству, следовательно — высокое», — писал он в одном из писем. По словам Блока, шум пропеллера «ввел в мир новый звук». *Летун* — в народном языке: огненный змей, летучий воздушный дух.

«Милый друг, и в этом тихом доме...» — *Азраил* — ангел смерти в восточной мифологии.

Новая Америка. — В этом стихотворении отразилась сильно увлекавшая Блока идея «великого возрождения» России «под знаком мужественности и воли», признаки которого он видел, между прочим, в развитии национальной промышленности. «Новая Америка» в понимании Блока — это поэтический образ будущего мира, «нового света», и, выдвигая этот образ, Блок ни в какой мере не подразумевал Соединенные штаты Америки — цитадель самого реакционного, агрессивного и грабительского империализма. Блок сам настоятельно подчеркивал, что говорит о «новой, а не старой Америке», т. е. не о США (см. предисловие его к поэме «Возмездие» — стр. 432 наст. издания). *Ектенья* — один из разделов православного богослужения. *Орарь* — принадлежность дьяконского облачения (длинная лента, перекинута через плечо). *Крепь* — здесь в смысле: крепость, неприступное место.

(см. словарь Даля). *Бунчук* — конский хвост на древке, знак власти украинских гетманов (также турецких пашей). *Мессия* — религиозный образ ожидаемого избавителя.

Художник. — *Сирины* — сказочные райские птицы.

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» — Заключительная строфа была вчерне набросана летом 1911 г. в Абервраке (Франция), воспоминанию о котором и посвящено стихотворение.

Кармен. — Стихотворения этого цикла были написаны под впечатлением встречи и знакомства с Л. А. Дельмас — оперной актрисой, исполнительницей роли Кармен в опере Бизе. *Дунига*, *Хозе*, *Лиллас-Пастья* и *Эскамилльо* — действующие лица в опере Бизе «Кармен». *Сегидилья* — испанская песня. Курсивом в тексте выделены цитаты из либретто «Кармен». В 7-м стихотворении («Вербы — это весенняя таль...») речь идет о сувенирах (пучке верб, ячменном колосе и засушенных розах), связанных с воспоминаниями о встречах с Л. А. Дельмас.

Последнее напутствие. — *Елисейские поля* — рай (Элизиум античной мифологии).

«Рожденные в года глухие...» — *Дни войны и дни свободы* — русско-япон-

ская война и революционные события 1904—1905 гг. Приводим по черновику (датированному 4 декабря 1913 г.) первоначальный текст стихотворения, в котором полнее раскрывается его тема:

Родившийся в глухие годы
Не помнит детства своего.
Но мы — мы дети дней свободы,
Мы не забыли ничего.

Быть может, старость слишком рано
Стучится в наши двери. Пусть.
Нас старят виденные раны,
Надежд несовершенных грусть.

Мы все — невольно или вольно —
Свидетели великих лет,
Мы знали голос колокольный,
Вы, вновь родившиеся, — нет.

Антверпен. — Блок был в Антверпене осенью 1911 г.; в 1914 г. Антверпен, как и вся Бельгия, стал ареной военных действий. Эско (Шельда) — река, на которой расположен Антверпен. *Стимер* — корабль. *Конго* — бельгийская колония в Африке. *Квентин Массис* — Массейс (1466—1530), крупнейший художник нидерландского Возрождения.

«Я не предал белое знамя...» — Первая строфа была написана еще в 1902 г.

Коршун. — Это стихотворение было выделено из черновиков поэмы «Возмездие» (ср. главу I, стихи 596—612).

Скифы. — ...*провал и Лиссабона и Мессины* — дважды, в XIV и в XVIII веках, Лиссабон был разрушен землетрясением, а в 1908 г. такой же участи подвергся южно-итальянский город Мессина. *Пестум* — древнегреческая колония в южной Италии, разгромленная в конце IX века сарацинами. *Эдип* — по древнегреческому сказанию, сын фиванского царя, разгадавший загадку Сфинкса и спасший тем самым Фивы. *Галльский* — французский. *Гунн* — представитель тюркского племени, в IV веке прошедшего через юг России в Западную Европу; в переносном смысле: варвар, уничтожающий культурные ценности.

ПОЭМЫ

Соловьиный сад

В черновике после набросков первых трех главок идет следующий «план» дальнейшего: «Он услышит чужой язык, испугается, уйдет от нее, несмотря на ее страсти и слезы, и задумается о том, что счастью тоже надо учиться».

В пейзаже поэмы отразились воспоминания Блока о французской деревушке Гетари

(на Бискайском побережье Атлантического океана), где он жил летом 1913 г. Биограф Блока (М. А. Бекетова) сообщает: «В Гетари была вилла, с ограды которой свешивались вьющиеся розы. Блоки часто проходили мимо нее и видели на скалистом берегу рабочего с киркой и ослом».

Возмездие

Над поэмой «Возмездие» Блок работал в общей сложности (со значительными перерывами) в течение одиннадцати лет — с 1910 по 1921 г. Первоначальный замысел возник у Блока в начале 1910 г. под впечатлением смерти и похорон отца, скончавшегося в Варшаве 1 декабря 1909 г. (Блок ездил на похороны). Первые наброски начала будущей III главы (приезд героя в Варшаву и смерть А. Л. Блока) датированы 7 июня 1910 г. Наброски эти обрабатывались в августе — сентябре, когда был намечен план поэмы, озаглавленной: «1 декабря 1909 г.»; впоследствии заглавие было заменено другим: «Отец». К январю 1911 г. относится вторая редакция будущей III главы, озаглавленная: «Возмездие (Варшавская поэма)». Но вслед за тем план поэмы разросся, тема индивидуальной судьбы отца заменилась более широкой темой — судьбы рода, нескольких сменяющих друг друга поколений (см. предисловие к поэме). В на-

чале марта 1911 г. были написаны Пролог и Вступление во II главу, весной и летом — отдельные наброски для I главы. Особенно интенсивно Блок работал над поэмой осенью 1911 г., когда было написано начало I главы и заново переработана глава III. В 1912—1915 гг. Блок только эпизодически возвращался к поэме (между прочим, изъяс из черновиков ряд отрывков, вошедших впоследствии в стихотворный цикл «Ямбы»). Следующий этап активной творческой работы над «Возмездием» относится к 1916 г.: 4 июня была закончена I глава. Наконец, после длительного перерыва, Блок вернулся к поэме в январе и мае — июле 1921 г., пытаясь продолжить II главу и закончить III-ю (эти предсмертные наброски — последнее, что Блок написал в стихах, — в окончательный текст поэмы не входят).

При жизни Блока из «Возмездия» в разное время были опубликованы: Пролог и I глава (в 1917 г.), Вступление во II главу (в 1918 г.), III глава с общим предисловием к поэме (в 1921 г.) и несколько отдельных фрагментов (в газетах и альманахах 1914—1915 гг.).

В работе над поэмой Блок широко пользовался, кроме семейных преданий своих родных (Бекетовых), документальными историческими материалами об эпохе 1870—1880-х годов.

Эпиграф к поэме — слова Сольнеса из драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес».

Предисловие. *Стриндберг Август* (1849—1912) — шведский писатель, творчество которого Блок высоко ценил. *Милюков П. Н.* (1859—1943) — лидер кадетской партии, идеолог империалистической буржуазии. Статья «Близость большой войны» (автор — А. П. Мертваго) была напечатана в газете «Утро России». *Ющинский Андрей* — мальчик, убитый киевскими черносотенцами в провокационных целях инсценировки «ритуального убийства», якобы совершенного евреями; возникшее в связи с этим шумевшее «дело Бейлиса» явилось одним из наиболее гнусных эпизодов реакционной политики царизма накануне его крушения. *Эпизод «Пантера — Агадир».* — В июле 1911 г. в гавань Агадир (Марокко) вошел германский военный корабль «Пантера», что вызвало резкое обострение франко-германских и англо-германских отношений; одно время общеевропейская война казалась неизбежной. *Столыпин П. А.* (1862—1911) — премьер-министр в годы реакции, жестоко подавлявший революционное движение. «*Rougon-Macquart*» — двадцатитомная серия романов Э. Золя, излагающая историю одной семьи. *Марина* — Марина Мнишек, жена первого

и второго Лжедмитриев. *Костюшка Тадеуш* (1746—1817) — вождь польского национально-освободительного движения. *Апухтинские годы* — по имени А. Н. Апухтина (1840—1893), лирического поэта, часто писавшего в духе и формах «цыганского романа».

Пролог. *Стих 17. Зигфрид* — герой древнегерманского эпоса «Песня о Нибелунгах».

Ст. 22. Нотунг — меч Зигфрида. После того как Зигфрид заново сковал расколотый Нотунг, злой карлик *Миме*, желавший завладеть мечом, пытался убить Зигфрида, но сам пал от его руки. Весь этот эпизод в прологе поэмы связан с музыкально-драматическим циклом Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов», который произвел на Блока очень сильное и глубокое впечатление.

Ст. 43—44. Вот голову его на блюде... — имеется в виду легенда о Саломее (см. выше, стр. 523 — примечание к «Венеции»).

Ст. 57. Денница — упоминаемый в Библии падший ангел, свергнутый с неба за гордыню и злость; по одной древней легенде (известной Блоку), Ева родила от Денницы Каина.

Глава I. Ст. 20. Рекамье Юлия-Аделаида (1777—1849) — знаменитая красавица, собиравшая в своем салоне множество выдающихся людей своего времени.

Ст. 47. Роланд — герой французского средневекового эпоса «Песнь о Роланде».

Ст. 56. *Люцифер* — одно из библейских прозвищ дьявола.

Ст. 60. *Кометы грозной и хвостатой*... — В 1910 г. много говорили и писали о появлении кометы, якобы угрожающей существованию земли.

Ст. 61. *Безжалостный конец Мессины*... — см. выше, стр. 531 — примечание к «Скифам».

Ст. 85. *Столица севера* — Петербург. Далее описано возвращение в столицу гвардии с русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Ст. 118. Под *Плевной*, *Шипкой* и *Горным Дубняком* происходили ожесточенные сражения в русско-турецкую войну.

Ст. 147. *Ложемент* — окоп.

Ст. 167. *Корпия* — перевязочный материал, употреблявшийся в старину вместо ваты.

Ст. 187. *Белый Генерал* — прозвище генерала М. Д. Скобелева (1843—1882), героя русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Ст. 198. *Штык* — здесь: рядовой, солдат.

Ст. 242. *Ванька* — извозчик.

Ст. 283 и сл. — В этой части поэмы Блок, основываясь на мемуарных источниках, описал собрание народовольцев. В ст. 300—338 изображены С. Л. Перовская (1854—1881), и С. М. Степняк-Кравчинский (1852—1895).

Ст. 321. *Наполеоновская борода* — борода особого фасона, введенная в моду французским императором Наполеоном III.

Ст. 365 и сл. Отсюда идет рассказ о родственной Блоку семье Бекетовых.

Ст. 414. Цитата из «Горя от ума» Грибоедова («Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна»), ставшая ходячим выражением в смысле: боязнь общественного мнения.

Ст. 433. «*Народная Воля*» — журнал (1879—1885), нелегальный орган партии народовольцев.

Ст. 447. *Глава семьи* — А. Н. Бекетов (1825—1902), дед Блока, ученый-ботаник и либеральный общественный деятель, профессор и одно время ректор Петербургского университета.

Ст. 467—468. *Борель* — ресторан в Петербурге. *Щедрин* — М. Е. Салтыков-Щедрин, друживший с А. Н. Бекетовым.

Ст. 474 и сл. В семье Бекетовых росли не три, а четыре дочери; мать Блока названа в поэме «меньшой».

Ст. 476. *Кипсэк* — книга, иллюстрированная гравюрами.

Ст. 508. Перефразировка заглавия знаменитой статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве».

Ст. 510. *Флер д'оранж* — украшение из цветов, которое надевала невеста при венчании.

Ст. 580. *Не моего романа* — цитата из «Горя от ума» Грибоедова.

Ст. 616. Под именем *Анны Вревской* вы-

ведена А. П. Философова (1837—1912) — буржуазно-либеральная общественная деятельница.

Ст. 622—623. «Дневник» — «Дневник писателя», периодическое издание, единолично выпускавшееся Ф. М. Достоевским в 1873, 1876—1877 и 1880—1881 гг., в пору его тесного сближения с реакционерами, в частности — с К. П. Победоносцевым (1827—1907), обер-прокурором Синода, виднейшим идеологом поповщины, черносотенства и полицейского режима.

Ст. 625. Полонский Я. П. (1819—1898) — известный поэт.

Ст. 626. Экс-министр — бывший министр.

Ст. 666 и сл. Отсюда идет рассказ об отце поэта — профессоре А. Л. Блоке (1852—1909); юрист и философ, он был щедро наделен художественными способностями, в частности — был отличным музыкантом.

Ст. 754—755. Констан Бенжамен (1767—1830) — французский писатель и политический деятель, идеолог буржуазного либерализма. Штейн Лоренц (1815—1890) — немецкий юрист-государствовед.

Ст. 906—913. 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале в Петербурге по приговору Исполнительного комитета партии «Народная воля» был казнен Александр II.

Глава II. Ст. 3. О Победоносцеве см. выше.

Ст. 41. Востока страшная заря... — т. е. предвестие русско-японской войны 1904 г.

Ст. 51. Царь огромный, водянистый — Александр III.

Ст. 64. «Князьями» в просторечии называли татар-старьевщиков.

Ст. 78. Туда, где в море сфинкс глядит... — см. выше, стр. 517, примечание к стихотворению «Снежная Дева».

Ст. 90. Державный Основатель — Петр I.

Глава III. Ст. 11. Имеется в виду памятник великому польскому астроному Копернику в Варшаве.

Ст. 27. Решетчатые пролеты этого моста напомнили Блоку тюремную решетку.

Ст. 288. Гарпагон — герой комедии Мольера «Скупой».

Ст. 298. Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор, один из видных представителей музыкального романтизма.

Ст. 303—312. Здесь имеется в виду картина художника М. А. Врубеля «Демон», известная в нескольких вариантах.

Ст. 316. По рассказу одного из современников Грибоедова, замысел «Горя от ума» возник у него якобы под впечатлением увиденного сна.

Ст. 358. Новый Свет — улица в Варшаве.

Ст. 388. Краковское Предместье — улица в Варшаве.

Д в е н а д ц а т ь

Время написания поэмы уточняется на основании дневниковых записей Блока: 8 января 1918 г. он впервые упомянул о поэме в записной книжке, а 28 января она была вчерне закончена.

В первый раз поэма была опубликована 3 марта 1918 г. в одной из петроградских газет.

Первая строфа 9 главки варьирует начальные строки популярного народного ромansa:

Не слышно шуму городского,
На невских башнях тишина.
И на штыке у часового
Горит двурогая луна,

литературным источником которого является стихотворение Ф. Н. Глинки «Узник», нередко приписывавшееся К. Ф. Рылеву.

Стихи: «Вперед, вперед, вперед, Рабочий народ!» (главки 10 и 11) — вариация слов известной революционной песни 1890—1900-х годов «Варшавянка»:

Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

1. Собрание сочинений, тт. I—XII. Издательство писателей в Ленинграде и «Советский писатель», Л., 1932—1936.

В этом издании сосредоточено, за малыми исключениями, все творческое наследие Блока: стихотворения (тт. I—IV), поэмы (т. V), драматические произведения (т. VI), переводы драматические и стихотворные (т. VII), очерки, статьи и речи (тт. VIII—XII).

2. Полное собрание стихотворений в двух томах. Редакция, вступительная статья и примечания Вл. Орлова. «Библиотека поэта» (большая серия), Л., 1946.

Во II томе опубликованы важнейшие варианты и другие редакции стихов и поэм Блока.

3. Сочинения в одном томе. Редакция, вступительная статья и примечания Вл. Орлова. Государственное издательство художественной литературы, М.—Л., 1946.

В однотомник вошли, кроме стихотворений, поэм и драматических произведений, избранные статьи и речи Блока, а также избранные его письма (числом 125).

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Блок. Вступительная статья	
Вл. Орлова	5

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Я ношусь во мраке, в ледяной пустыне...»	75
«Я стремлюсь к роскошной воле...»	76
Гамаюн, птица вещая	77
«Я шел к блаженству. Путь блестел...»	78
«Помнишь ли город тревожный...»	79
«За краткий сон, что нынче снится...»	80
«На небе зарево. Глухая ночь мертва...»	81
«Я вышел. Медленно сходили...»	82
«Ветер принес издалёка...»	83
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»	84
«Сумерки, сумерки вешние...»	85
«Встану я в утро туманное...»	86
Ночь на Новый Год	87
«Бегут неверные дневные тени...»	89
«Верю в Солнце Завета ...»	90
«Станных и новых ищу на страницах...»	91

«Мы встречались с тобой на закате...»	92
«Я, отрок, зажигаю свечи...»	93
«Я и молод, и свеж, и влюблен...»	94
«Свобода смотрит в синеву...»	95
«Вхожу я в темные храмы...»	96
«Стою у власти, душой одинок...»	97
«Запевающий сон, зацветающий цвет...»	98
«Мне снились веселые думы...»	99
«Отворяются двери — там мерцанья...»	100
«Я вырезал посох из дуба...»	101
«Просыпаюсь я — и в поле туманно...»	102
«Ты из шопота слов родилась...»	103
«Скрипка стонет под горой...»	104
«Ей было пятнадцать лет. Но по стуку...»	105
Фабрика	107
Петр	108
«Вечность бросила в город...»	110
«Город в красные пределы...»	111
Гимн	112
«Поднимались из тьмы погребов...»	114
Песня матросов	116
«Барка жизни встала...»	117
«В кабаках, в переулках, в извивах...»	118
«Шли на приступ. Прямо в грудь...»	120
«Улица, улица...»	121
«На весеннем пути в теремок...»	122
Влюбленность	124
Балаганчик	126
Осенняя воля	128
«Девушка пела в церковном хоре...»	130

«Там, в ночной завывающей стуже...»	131
«Утихает светлый ветер...»	132
«Осень поздняя. Небо открытое...»	133
Пляски осенние	134
Митинг	136
«Вися над городом всемирным...»	139
«Еще прекрасно серое небо...»	140
Сытые	141
«Милый брат! Завечерело...»	143
Сольвейг	145

Незнакомка:

1. «По вечерам над ресторанами...»	147
2. «Там дамы щеголяют модами...»	149
«Прошли года, но ты — всё та же...»	151
Ангел-хранитель	152
Русь	154
«Передвечернею порою...»	156
Холодный день	158
В октябре	160
Окна во двор	162
«Ночь. Город угомонился...»	163
Сын и мать	164
«Так окрыленно, так напевно...»	166
Балаган	168
«Хожу, дрожу понурый...»	169
Пожар	171
«Ты смотришь в очи ясным зорям...»	173
На чердаке	174
«Вот явилась. Заслонила...»	176
Из «Снежной маски»:	
Снежное вино	178

Снежная вязь	179
Ее песни	180
Крылья	181
В углу дивана	182
Они читают стихи	183
«Зачатый в ночь, я в ночь рожден...»	185
«Я насадил мой светлый рай...»	188
«Я ухо приложил к земле...»	189
«Тропами тайными, ночными...»	190
«Сырое лето. Я лежу...»	191
Вольные мысли:	
О смерти	193
Над озером	197
В северном море	201
В дюнах	204
«Везде — над лесом и над пашней...»	207
«В густой траве пропадешь с головой...»	208
«В те ночи светлые, пустые...»	209
Снежная Дева	210
«О, весна без конца и без краю...»	212
«Работай, работай, работай...»	214
Инок	216
«Гармоника, гармоника!..»	218
Клеопатра	220
«Когда вы стоите на моем пути...»	222
«Она пришла с мороза...»	224
«Я помню длительные муки...»	226
«Свирель запела на мосту...»	227
«Всё помнит о весле вздыхающем...»	228
«Май жестокий с белыми ночами!..»	229

На поле Куликовом:	
1. «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»	230
2. «Мы, сам друг, над степью в полночь стали...»	231
3. «В ночь, когда Мамай залег с ордою...»	232
4. «Опять с вековой тоскою...»	233
5. «Опять над полем Куликовым...»	234
Друзьям	236
Поэты	238
«Она, как прежде, захотела...»	240
«Когда замрут отчаянье и злоба...»	242
«Твое лицо мне так знакомо...»	243
Россия	245
«Я пригвожден к трактирной стойке...»	247
«Своими горькими слезами...»	248
«Всё б тебе желать веселья...»	250
«Опустишь, занавеска линияля...»	251
«О доблестях, о подвигах, о славе...»	252
«Не затем величал я себя паладином...»	254
Осенний день	255
«Под шум и звон однообразный...»	257
«Так. Буря этих лет прошла...»	258
«В голодной и больной неволе...»	259
«Когда, вступая в мир огромный...»	260
«Весенний день прошел без дела...»	261
«Не спят, не помнят, не торгуют...»	262
Из «Итальянских стихов»:	
Равенна	263
Благовещение	264
Девушка из Spoleto	266

Венеция:	
1. «С ней уходил я в море...»	267
2. «Холодный ветер от лагуны...»	268
3. «Слабеет жизни гул упорный...»	—
Перуджия	270
«Флоренция, ты ирис нежный...»	—
«Окна ложные на небе черном...»	271
Madonna da Settignano	—
Фьезоле	272
«Искусство — ноша на плечах...»	273
Через двенадцать лет:	
1. «Всё та же озерная гладь...»	274
2. «В темном парке под ольхой...»	—
3. «Когда мучительно восстали...»	275
4. «Синеокая, бог тебя создал таковой...»	276
5. «Бывают тихие минуты...»	277
6. «В тихий вечер мы встречались...»	—
7. «Уже померкла ясность взора...»	278
8. «Всё, что память сберечь мне старается...»	278
Утро в Москве	280
«Всё это было, было, было...»	281
«Как прощались, страстно клялись...»	283
«Из хрустального тумана...»	284
Двойник	286
«Поздней осенью из гавани...»	288
На островах	289
Сусальный ангел	291

Голоса скрипок	293
На смерть Коммиссаржевской	294
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?»	296
«Черный ворон в сумраке снежном...»	297
В ресторане	298
Демон	300
«Как тяжело ходить среди людей...»	302
На железной дороге	303
«Когда-то гордый и надменный...»	305
Посещение	306
«Там неба осветленный край...»	308
«Знаю я твое льстивое имя...»	309
«В огне и холоде тревог...»	310
«О, как смеялись вы над нами...»	312
«Да. Так диктует вдохновение...»	313
«Земное сердце стынет вновь...»	314
Унижение	315
Авиатор	317
«Шар раскаленный, золотой...»	320
«Благословляю всё, что было...»	321
Шаги командора	322
Пляски смерти:	
1. «Как тяжко мертвецу среди лю- дей...»	324
2. «Ночь, улица, фонарь, аптека...»	326
3. «Пустая улица. Один огонь в окне...»	—
4. «Старый, старый сон. Из мрака...»	327
5. «Вновь богатый зол и рад...»	328
«Да, знаю я: пронзили ночь от века...»	330

«Приближается звук. И, покорна щемя- щему звуку...»	331
«И вновь — порывы юных лет...»	332
«Миры летят. Года летят. Пустая...»	333
«Есть минуты, когда не тревожит...»	335
«Болотистым, пустынным лугом...»	336
«В небе — день, всех ночей суверен- ней...»	337
Сны	338
К Музе	340
«Мы забыты, одни на земле...»	342
«Милый друг, и в этом тихом доме...»	344
«Есть времена, есть дни, когда...»	345
Седое утро	346
Новая Америка	348
Художник	351
«Я вижу блеск, забытый мной...»	353
«Ты говоришь, что я дремлю...»	354
«Ваш взгляд — его мне подстеречь...»	355
«О, нет! не расколдуешь сердца ты...»	356
«Ты — буйный зов рогов призывных...»	358
«Натянулись гитарные струны...»	359
Из «Жизни моего приятеля»:	
1. Поглядите, вот бессильный...»	360
2. «Всё свершилось по писаньям...»	361
3. «Когда невзначай в воскре- сенье...»	—
4. «Пристал ко мне нищий дурак...»	362
«О, я хочу безумно жить...»	364
«Я — Гамлет. Холодеет кровь...»	365

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»	366
«Как день светла, но непонятна...»	368
«Петербургские сумерки снежные...»	369
Кармен:	
1. «Как океан меняет цвет...»	370
2. «На небе — празелень, и месяца осколок...»	—
3. «Есть демон утра. Дымно-светел он...»	371
4. «Бушует снежная весна...»	—
5. «Среди поклонников Кармен...»	372
6. «Сердитый взор бесцветных глаз...»	—
7. «Вербы — это весенняя таль...»	374
8. «Ты, как отзвук забытого гимна...»	—
9. «О, да, любовь вольна, как птица...»	375
10. «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь...»	377
Последнее напутствие	379
«Смычок запел. И облак душный...»	382
«Я помню нежность ваших плеч...»	383
«Ты жил один! Друзей ты не искал...»	384
«Грешить бесстыдно, непробудно...»	385
«Задебренные лесом кручи...»	387
«Была ты всех ярче, верней и прелестней...»	388
«Петроградское небо мутилось дождем...»	389
«Рожденные в года глухие...»	391

Антверпен	392
«Он занесен — сей жезл железный...»	394
«Я не предал белое знамя...»	395
«За горами, лесами...»	396
«Пусть я и жил, не любя...»	397
Перед судом	398
«На улице — дождик и слякоть...»	400
«Превратила всё в шутку сначала...»	401
«Дикий ветер...»	402
Коршун	404
«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...»	405
Скифы	407

ПОЭМЫ

Соловьиный сад	413
Возмездие:	
Предисловие	425
Пролог	437
Первая глава	440
Вторая глава <Вступление>	471
Третья глава	475
Двенадцать	491
Примечания	509
Основные издания сочинений Александра Блока	541

Редакционная коллегия:

*И. А. Груздев, А. Г. Дементьев, В. П. Друзин,
А. М. Еголин, А. А. Прокофьев, В. М. Саянов,
А. К. Тарасенков, А. Т. Твардовский,
Н. С. Тихонов*

Редактор В. Друзин

Художник Л. Хижинский

Техн. редактор В. Комм

Корректор З. Петрова

*М 37543. Подписано к печати 17/X 1951 г. Формат
бумаги 70×108₁₆—4,31 бум. л.—11,81 печ. л. Авт.
л. 14,57. Уч.-изд. л. 15,32. Тираж 20 000. Цена 9 р.
Заказ № 711.*

*Типография № 3
Ленгорполиграфиздата*